

# ПРИШЕСТВИЕ МААТ



ЛЕОНИД РОЖНОВ

СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

Леонид Рожнов  
**Пришествие Маат**

«Автор»

2026

## **Рожнов Л.**

Пришествие Маат / Л. Рожнов — «Автор», 2026

План бога Тота был рассчитан с точностью храмового писца, и единственная погрешность составила жалкие полторы сотни лет. Но этого хватило, чтобы вместо тёплых песков Гермополя мой саркофаг вскрыли в зале северного музея. В стране, которой в моё время даже не существовало. За окнами снег. В углу дрожащий юноша с мерцающей скрижалью, записывающий каждое моё движение. На улицах местная знать, исповедующая чужой культ и мнящая себя хозяевами этого города. Космический хаос, ровный и привычный мне, как лицо старого врага. Что ж. Инструкции моего господина не обсуждаются. Каждая иероглифическая формула на моих погребальных пеленах это спящее заклинание. Каждый знак, перенесённый ритуалом на иссохшую кожу активный навык. Мой саркофаг снабжён знаниями на тысячелетие вперёд. Свою стелу я превращу в Алтарь, а Алтарь станет ядром моего Домена переписанной реальности, где действуют законы Маат, а не правила их жалких империй и надзоров.

© Рожнов Л., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	17
Глава 4	24
Глава 5	31
Глава 6	38
Глава 7	46
Глава 8	53
Глава 9	60
Глава 10	67
Глава 11	72
Глава 12	77
Глава 13	82
Конец ознакомительного фрагмента.	83

# Леонид Рожнов

## Пришествие Маат

### Глава 1

*Дитя. Открой глаза. Очнись от сна веков.*

Голос пришёл из глубины черепа, и вместе с ним пришёл вкус молока: тёплого, с тонкой сладкой плёнкой, как в глиняной чаше у очага зимним утром, когда жена вставала доить коз раньше рассвета, и оставляла молоко в тепле до моего пробуждения. По этому вкусу я понял: ритуал окончен. Меня собрали обратно. Я больше не был мёртв.

Я открыл глаза — точнее, то, что у меня было вместо них: подушечки льна, пропитанные смолой, с магическими формулами поверх пустой кости. Ритуал требовал жертв, и мирское зрение было среди них одной из меньших. Взамен мне даровали видение ка и душ. Оно служило цели лучше плоти глазного яблока.

Зал был залит чужим светом — ровной белизной без видимого источника. Сквозь резь в затылке я увидел бледные гладкие стены, много стекла — выше человеческого роста, чище любого сосуда из сидонских мастерских, — и людей. Ни один из них не стоял на коленях.

Это было второе, что я отметил.

Жрец Тота, восставший из саркофага по слову Тота, поднял веки — и не нашёл вокруг ни одного склонённого хребта. Маат была нарушена. Нарушение лежало на полу, стояло в стенах, висело в ровном чужом воздухе. В первое мгновение я не понял, на кого обращать гнев; понял только, что гнев положен. Дом без хозяина, в котором собаки ходят по столу. Я знал такие слова со пятой ступени Дома Жизни — не думая, что однажды увижу их во плоти.

И тогда я увидел его.

Молодой мужчина стоял в трёх шагах от моего саркофага, вжав затылок в стекло. В правой руке у него была глянцевая скрижаль; он дёргал её то к себе, то ко мне, не убирая большого пальца с впадинки на боку. В левой — глиняный кувшин моего храма, расколотый по венчику, с молочным следом на изломе. Двое в одинаковой тёмной одежде ломали ему руки за спину. Третий держал у его виска чёрный предмет. От предмета пахло горячим металлом и незнакомой гарью.

Они держали моего носителя ритуала. Они угрожали оружием тому, чья рука разорвала печать на моей гробнице по слову Тота.

Гнев пришёл одной волной — без сверки, без формулы, без запретов на поспешность, что лежат у нас в Доме Жизни между намерением и действием. Я не вспомнил ни одного из них.

Лён, в семь слоёв укрытый поверх моего тела, тронулся.

Иероглифы Книги Мёртвых, нанесённые на нижний слой кистью моего сына в ночь перед погребением, отозвались на одно моё намерение, не дожидаясь формулы. Действие отстало от мысли на полудыхание — ткань со знаками слушалась так же, как рука. Ленты развернулись по щиколоткам, бёдрам, груди и вытянулись в воздух. Каждая знала, кого ищет, потому что её послал я.

Тот, что стоял ближе, открыл рот. Рука его пошла к поясу. Но сказать слово он не успел. Лента льна, белая, с проступившей по ткани густой чернотой строки, захлестнула ему шею и запястье и швырнула через зал в дальнюю стеклянную перегородку. Та лопнула щелчком.

Второй увидел и понял. Он бросил моего носителя — резко, как роняют горящий уголь, — и качнулся назад, рукой к поясу. Поздно: вторая лента ударила его под колено сзади и под подбородок снизу, подняла, бросила к колонне, оставила лежать.

Третий не двинулся. Он не отступил, не отвёл ствол от виска юноши, не оглянулся на упавших; он только повернул голову на четверть в мою сторону — и нажал.

Я услышал твёрдый щелчок.

Чужое орудие меня ударило — но как оно ударило, я не разобрал. В воздухе перед моей грудью лишь моргнуло число и стаяло:

ка -2

Я отметил цену и не задержался на ней. Смертному оружию не дано прервать того, кто избран Тотом.

Третья лента настигла его через вздох и покарала за дерзость. Приказ я отдал короче выдоха — формула вышла во внутренний удар без слов. Лента коснулась лба, вспыхнули знаки — древние, как имя моего господина, — и лента уже летела назад ко мне, неся эссенцию его существования. Мёртвый сосуд на полу был правилен по той мере, какую я нёс из Хемену: выстрел за выстрел. Так у нас сходилась Маат.

Двух остальных ленты подняли с пола, связали им руки за спиной, прижали к колонне и оставили — связанных и живых. Мера их вины не равнялась мере казни. В Доме Жизни этому различию учат раньше формул обращения.

Молодой мужчина с разбитым кувшином стоял на том же месте. Рот у него был открыт. Глянцевая скрижаль в его правой руке, нацеленная теперь куда-то в мою сторону, чуть подрагивала; из неё шёл слабый красный отблеск — светящейся точкой сбоку.

Лён осел на мне обратно — не весь; часть осталась висеть вокруг плеч и торса живым свёртком. Я впервые за долгое время ощутил собственный вес: тело разучилось быть живым, хотело остаться безвольной статуей, пролежать ещё эоны без движения.

Я положил правую ладонь себе на грудь, под верхний слой пелен. Папирус под рукой — Свиток мой, вложенный в ночь укладки между сердцем и левой рукой, — отозвался на касание слабо, но без ошибки. Передо мной, на расстоянии ладони от лица, в воздухе разошлась золотая щель — не шире края папируса. Из неё развернулся счёт: сухой, числовой, без милости, какой у нас в Доме Жизни старшие писцы сводили над живым перед ритуалом.

Я заглянул в счёт.

-- Свиток : пробуждение --

ка 12 / 100

-- татуировки --

Глас Тота спит

-- артефакты --

Жезл Уас 1 / 1

Скарабей-сердце 3 / 3

-- вера --

(пусто)

Двенадцать долей из ста — мало. У нас в Хемену юный послушник Дома Жизни в первый месяц службы выходил на двенадцать; средний жрец стоял на восьмистах; я когда-то держал тысячу. Сегодня я был у нижней полосы, какую у нас в счёте не значили. Глас на запястье ещё спал — поднять его надо было касанием носителя речи. Артефакты дышали ровно: жезл — один полный заряд, скарабей — три. Хороший лён. Хорошая укладка.

В саркофаге, у моих ног, лежал Жезл Уас — Петосириис положил его так, чтобы рука нашла рукоять не глядя. Я взял Жезл в правую и встал на каменный пол босыми ногами. Пол был холодный — не камнем храма, а другим, более ровным холодом: ни жил, ни зерна, ни шва, словно его выгладили одной плитой не моими современниками.

Я осмотрел зал. Стены — бледные, без росписи, без копоти, без бога в углу. Свет — ровный, без источника. Стекло — везде. За стеклом — фигурки, мои, ушебти, десятки в ряд, выложенные так, будто их только что вынули из ящика и не успели расставить. И через одну витрину от моего саркофага, ближе к дальней стене, стояла стела.

Моя стела.

Я узнал её прежде по высоте, чем по знакам. А потом узнал и по знакам — по почерку Петосирииса, который был мой, но с тем мягким наклоном правой руки, что остаётся у человека, учившегося писать, придерживая папирус локтем. Нижние строки были его. Гимн Тоту был его. Имя жены моей, высеченное на нижнем поясе, было его.

Имя жены моей.

Меня ударило.

*Я был Джсехути-Ирдис, жрец Тота высокого посвящения, хем-нечер в храме Хемени, городе восьми, который позднейшие народы назовут Гермополем. Я был сыном жреца и до двадцатого разлива жил под взглядом учителя и под рукой господина. В этом стояло моё счастье. В этом же лежала моя цена. Я был мужем Несхонс, жрицы Хатхор, и отцом двоих детей: Мерит-Тот, от которой пахло одеялом и пылью двора, и Петосирииса, моего ученика прежде, чем сына. В ту последнюю ночь его рука у моего затылка пахла миром и мукой, а сам он молчал так, как молчат те, кто провозжаает равного дальше, чем может идти сам.*

*Я согласился лечь, потому что мой господин рассчитал срок и обещал возвращение Маат через тысячелетия. Выбора между его расчётом и моей жизнью у меня не было. Я лёг и ждал. Он ошибся на полтора столетия, может быть, на два; точнее я узнаю, когда измерю стирание на нижнем слое. Но чужая рука всё же разбила кувшин с молоком над моей печатью, и в этой трещине я вернулся.*

Я закрыл глаза на один удар сердца, не больше. В новом мире глаза надолго не закрывают. Когда я открыл их снова, юноша с разбитым кувшином ещё шептал что-то в свою глянецовую скрижаль — торопливо, на чужом языке, не отрывая от меня глаз. У человека, который шепчет в скрижаль посреди мёртвых и связанных, есть для этой скрижали причина. Эту причину мне нужно будет узнать.

*Молоко. Начало.*

Голос моего господина пришёл двумя словами, без пояснения. Я отметил их и положил в ту часть памяти, где у меня лежали формулы первого порога. Там и пусть лежат — до часа, когда сами потребуют другого места.

Я сделал первый шаг по холодному полу нового мира.

Юноша у стекла не отступил. Он шептал в свою скрижаль — торопливо, дробно, с перепадами высоты — так говорят, когда хотят, чтобы голос дошёл сразу до многих и для каждого прозвучал по-своему. Я не понимал ни одного слова. Это нужно было исправить прежде второго шага. Слепой ход в чужом зале — не моя работа.

Я выбрал татуировку на левом запястье.

Глас Тота нанёс мне сам мой господин — в ночь подготовки, бронзовой иглой, чернилами из сажи и виноградного вина, с паузой на каждом четвёртом знаке, как полагалось на пятой ступени Дома Жизни. Он сказал тогда над моим запястьем, не повышая голоса: «Это будет твой Глас в чужом времени. Для слышания и для слова, какое не оставит тебя глухим». В тот час я не понимал, насколько чужим окажется время. Теперь, услышав чужой шёпот в чужом зале, я понимал. Между нанесением и пробуждением формулы у меня легло двадцать шесть веков; она пережила их потому, что лён пережил, и потому что Петосириис в ту послед-

нюю ночь прошёл по верхнему контуру отцовской работы — так же тщательно, как в детстве переписывал мои черновики набело.

До нанесения формула делается собственным дыханием — каждый раз заново и дороже. После нанесения она стоит на коже, и обращение к ней оплачивается искрой. Разница — как между шестом против течения и поднятым парусом. После пеленного боя тело помнило шест. Я выбирал парус.

Я провёл по запястью большим пальцем правой руки, придерживая Жезл другими, — и формула отозвалась изнутри тёплой волной, теплом сухого, подложенного в очаг.

Иероглифы проступили золотыми тонкими линиями — сперва под кожей запястья, а оттуда сошли вниз, к ладони, и собрались внутри неё единым плотным знаком: око, обведённое строкой формулы. Ладонь нагрелась изнутри и сделалась инструментом.

Запах гари — слабый, сухой, не больше, чем от лампы с подрезанным фитилём, — вышел из-под левой кисти. Свет в зале мигнул, и стеклянные витрины, все до одной, отозвались едва уловимым дрожанием — низкий гул прошёл по ним без звука.

Счёт пришёл ко мне сам, без щели в воздухе: формула стояла теперь на коже и говорила изнутри. То, что заработало сейчас, — не прибавка силы, а смена метода.

Глас не вытаскивает чужую речь из воздуха. Чужая речь лежит в живом носителе, как вода в кувшине, — и взять её можно только касанием. Носитель стоял у стекла в трёх шагах от меня: с разбитым кувшином, с молочным следом на изломе, со скрижалю, прижатой к груди. Шёпот его оборвался, как только я повернул к нему лицо.

Я подошёл.

Он не побежал. Он не закричал. Только дыхание у него в груди стало ходить рывками, через раз. Я поднял левую руку и положил ладонь ему на лоб — над бровями, у границы волос, как кладут руку при храмовом благословении младенца. Знак на моей ладони лёг на его кожу под моими пальцами.

Вспышка.

Не свет, не звук — сухое выпрямление чего-то внутри головы, как выправляют согнутый папирус. И язык вошёл в меня весь сразу: узнаванием — целым, минуя слова и правила. Всё, что юноша знал, всё, что он мог сказать и услышать, легло в меня без перевода, без щели, без посредника.

То, что он только что шептал в свою скрижалю, я услышал заново — теперь полностью:

*Пацаны, тут реально мумия встала, я не шучу, это Пушкинский, она их всех уложила в две секунды, я всё снимаю, вот, смотрите, это не монтаж, это прямо сейчас, я в Хамовниках, ну ваще...*

Я снял ладонь с его лба.

Знак под кожей сошёл с ладони обратно — собрался у запястья, лёг ровной строкой над веной и ушёл вглубь. Свет погас. Ладонь снова стала просто ладонью; работающее место Гласа вернулось в укрытие, где его не увидит первый встречный.

Юноша остался стоять как стоял — на полудыхании, со скрижалю у груди.

Лицо его шло судорогой — одной, потом второй. Я видел, как у него внутри идёт спор. На полу в трёх шагах от него лежало остывающее тело, и взгляд юноши бегал между мной и этим телом. Скрижалю в его руке дрогнула. Кадык поднялся, опустился, поднялся снова — он слатывал. Подо ртом у него выступила полоска слюны, и он вытер её свободной ладонью одним движением, не сводя скрижали с меня.

Он сделал шаг назад, другой. Скрижалю в правой руке он опустил на ширину ладони — движение нерешительное, в сторону пола. Но он смог удивить меня — остановился, собрал себя.

Не знаю, чем — словом ли, сжатой челюстью, разговором с собой, какого я не слышал. Что-то у него внутри сошло с одного на другое; и то, что было ранее страхом, ушло — туда, где

работа писца стоит над страхом. Юноша поднял скрижаль обратно. Поднял выше, чем держал прежде. Поверх страха в его лице стояло теперь то, что я отметил отдельно: интерес работника к своему утреннему улову, тяжёлому и неожиданному.

Я поднял правую руку, в которой держал Жезл, — не для удара, а медленно, ладонью наружу. Кивнул один раз. Сказал негромко:

— Ты разбил кувшин с молоком на моей печати. Ты дал мне дар возрождения. За это оставлен живым.

Юноша вздрогнул — Глас дал мне его язык в первое касание, и слова легли в него ровно, без щели. Он понял.

Юноша заговорил в скрижаль — и на этот раз слова его шли уже не записью прошлой минуты, какую я снял с его головы ладонью, а живым голосом, ложившимся во мне ровно так же, как лежал бы в любом, кто стоял бы рядом с ним на улице его города:

*Это реально бог, чуваки, из музея, подписывайтесь срочно, апокалипсис ускоряется, я первый показываю...*

В его шёпоте было слово *бог*. Он называл меня им так же ровно, как у нас в Доме Жизни молодые послушники называли посвящённого в первую неделю после возвращения из храма. Не точно то слово; близкое к тому.

Я повернул голову к стеклу справа. За стеклом — табличка, белая, с чёрными знаками. Знаки не были иероглифами: они шли прямыми линиями, простыми, как царапины острым мелом. Я прочёл легко — Глас лежал у меня в голове той частью, какой пишут на этом языке. Первой строкой стояло моё имя.

ДЖЕХУТИ-ИРДИС, жрец Тота.

Дальше шли слова, которые я знал теперь столько же, сколько любой здешний житель: *экспонат, коллекция, XXVI династия*.

Слово «экспонат» отозвалось в моём ка тяжелее остальных.

## Глава 2

Глас отдал мне значение: *предмет, поставленный перед смотрящим для целей показа, в ряду подобных*. Значение легло сухим, и за ним сразу — тон, отдельной нитью. Тон стоял в графе: так называют не людей. Так называют вещи, отчёт о которых ведёт писец на отдельной табличке, отдельным почерком, без формулы за упокой, без знака ушедших, без воды у изголовья; так в Хемену вели описать храмового имущества — котлы, ткацкие станки, жертвенные ножи, перечисленные в столбцах с весом и местом хранения, — и так же, я знал точно, вели описать трофеев, взятых при Псамметихе у нубийских князей; и в том столбце шли вещи и шли рабы, шли в одной графе, под одной чертой, по одной формуле счёта. Жрец высокого посвящения в этой графе не стоял никогда. Жрец Тота, имя которого было занесено в храмовые списки Дома Жизни Хемену с разлива его двадцатого, и стоявшее на первой строке всякой формулы, какую он составлял в тот год, и закрывавшее всякую последнюю, — этот жрец, по слову маленькой белой таблички, лежал теперь под одной чертой с котлом и перечнем нубийского медного лома.

*Жрец, восставший по слову Тота, не вещь.*

Я не сказал этого вслух. Я пошёл дальше.

Далеко за стенами зала появился ровный новый звук: топот многих ног, тяжёлых, обутых в одинаковую обувь. Сверху, из маленькой чёрной коробки на потолке — мёртвой пустой вещи, не имеющей ни лёгких, ни горла, — прорезался сухой хрип, и в этом хрипе шёл голос. Голос отдавал сжатые приказы:

*Все группы — в зал семь. Немедленно. Блокируем выходы.*

Кто-то идёт.

Юноша услышал тоже — и сделал то, чего я снова не ожидал: вместо того чтобы отступить за колонну, он поднял скрижаль выше плеча, развернул её так, чтобы в её щели попадали и я, и дверь сразу, и зашептал в неё чаще, дробнее, с тем коротким азартом мастера, у которого работа пошла именно так, как он давно ждал, что она пойдёт.

Я повернул голову влево. В низкой витрине лежал ритуальный набор XXVI династии: каноп, амулеты, бронзовая секира-скипетр с чёрным от времени лезвием и двумя строками формулы по нижней кромке. Лезвие я узнал прежде, чем разглядел: моё, гермопольской ковки, формулы — мои.

Лента льна, шедшая через грудь свободным концом, хлестнула по стеклу витрины. Стекло осыпалось внутрь сухим шорохом. Я взял скипетр-секиру в левую ладонь — рукоять легла знакомо.

Стела стояла в семи шагах от меня, у дальней стены: высокий камень в тёмном граните на низком постаменте, и имя посвящённого видят все, потому что его не от кого прятать. На неё я и шёл с самого первого вдоха в этом зале — на неё одну, потому что всё прочее, что мог дать мне господин в дорогу, было приложением к ней.

У жреца моей ступени стела в погребении — обычная вещь: камень с именем, гимном, эпитафией от ближайшего, какой ставят и тому, кто прошёл малое посвящение, и тому, кто прошёл высокое; разница в этом ставится по строкам, не по сорту камня. Эта стела была другой. На обычной форме — гимн, эпитафия, имя — мой господин выложил то, чему ни в каноне Хемену, ни в боковых записях Сетекена я никогда не встречал ни имени, ни рамки: господин обещал, что стела даст мне место, откуда смогу я в безопасности начать возрождение его. Законы Маат, высеченные в потоке мира, прикованные к плите, поверх обычного письма, и связанные с возвращением ка их хозяина так, что камень должен был ответить на меня сам — без формулы из моего горла, в первый же удар сердца после пробуждения. По замыслу гос-

подина, это пространство должно было начать свой путь вместе с моим первым вздохом, дав землю обетованную, с которой я начну правление, по законам его.

Стела молчала.

Не отозвалась в час пробуждения, не отозвалась, когда я вышел из укладки в зал, не отозвалась, когда я взял в левую ладонь её ровесника-скипетра. Двадцать шесть веков — долгий разлив даже для моего господина; рассчитал он верно по форме, а по силе недобрал. Подпитка свыше шла редкой каплей: камень слышал меня, но подняться сам уже не мог.

Значит, поднимать его придётся мне — и тем способом, какой Сетекен в своих записях о вынужденных ритуалах называл коротким словом, без украшений. Дороже, чем закладывал господин. Сильно дороже.

Я заглянул в свой счёт.

-- --

ка 12 / 100

-- татуировки --

Глас Тота активен

-- артефакты --

Жезл Уас 1 / 1

Скарабей-сердце 3 / 3

-- вера --

(пусто)

Двенадцать долей из ста — те же, с которых я начинал утро; ка моя сама не отрастала, отрастать ей было не у чего. Перед обученной стражей это была не цена и не вес. Жезл — на одно давление, последнее. Скарабей — спасет на крайний случай, когда иных путей уже не останется.

Домен, по слову господина, должен быть воплощением силы Маат — и поднять его должен был сам господин, благословением сверху, через стелу. Благословение не пришло. Стела молчала.

Но Маат во мне стояла своим. Восемнадцать разливов служения богине — собранных по песчинке, разлив за разливом, до глубины в три слоя. Знаки стояли со мной все веки укладки: *маат, перо, чаша*, тонкая черта; то, что я нёс в себе так, как Несхонс нёс ремесло отца своего; то, что собирал годами службы и предполагал нести до конца моих разливов и дальше них.

Был путь. Сжечь это в один миг. Разорвать связь с богиней — и подложить горящее под основание стелы вместо отсутствующего благословения сверху.

Жертва.

После такой жертвы связь моя с Маат не зарастёт сама. Собирать её придётся заново, как собирает первогодок Дома Жизни, — по знаку, по разливу, по часам службы. Годами раскалывания. Домен подыметесь коротким и нестабильным; поднявшись — будет жить на пепле этой связи столько, сколько у меня хватит крови гореть.

Это был не план. Это был выход.

Я подошёл к стеле. Скипетр-секиру оставил у её основания — лезвием наружу, как кладут оружие при ритуальном входе в нижнюю палату. Левая ладонь освободилась, и я положил её на иероглифы.

Камень был холодный — не той холодностью, какую держит мрамор в нерабочем углу храма, не той, что приходит к плите от ночной воды и уходит к восходу, — а холодом отсутствия: тем, который остаётся в стене, когда из неё ушло то, что её грело сверху. Тот молчал; над стелой не было ни ладони, ни голоса, ни тонкой нити одобрения, которую жрец моего часа имел право ждать от своего господина.

Тогда я разорвал связь.

Иероглифы Маат вспыхнули у меня между лопаток — без жеста, без слова, на одном вдохе. Черты поднимались к раскалу одна за другой и гасли. Я слышал их не ушами, а кожей: *маат*, перо, чаша, прямая черта, ещё одна, ещё одна. Боль шла не телом — пустотой на месте, привычной к ношению.

Кровь под лопаткой просочилась сквозь лён узкой полосой. Тёплая, своя. Впервые за двадцать шесть веков — по-настоящему моя.

В одном вдохе ушло восемнадцать разливов служения богине: ритуалы её весов, тонкая нить её правды у меня в кости, имена тех, кого я отпустил по её мере, часы у её алтарей под низким светом масляных ламп. Всё разом, не разбирая.

Кровь сошла на лён, и через лён — в основание стелы; и стела отозвалась, как принимает алтарь жертву: сухим движением вглубь, без благодарности, без отказа, как принимает по праву службы тот, кому приносят. Иероглифы под моей ладонью вспыхнули — неровно, разрозненно, как загораются плохо подсушенные дрова от подсунутого под них горящего лоскута: один знак раньше другого на полудыхание, третий с задержкой, четвёртый — едва, на пределе видимости. Жар сложился в нечто целое только потому, что я держал ладонь и не отнимал.

Стела взяла жертву и стала.

Волна поднялась от стелы — не вспышкой, медленно расходящимся кругом, как от брошенного в тёмную воду камня. Первая складка тронула пол у самого основания, прошла через мраморную плиту, и за ней легла вторая, и третья — неровная, провисающая на восход. Жертва была частная, не положенная по канону.

Свет музея — ровный, белый, какого у нас не давали ни факел, ни лампада, — взял поверх стерильности тёплый медовый отблеск. К запаху камня и пыли прибавилась тонкая тень смолы. Воздух стал гуще на одну тень плотности — но дышать в нём было уже как дышать в храме во время утренней службы. И поверх гула освещения, поверх шагов охраны в коридоре, я различил — или мне показалось — шорох сандалий по каменному полу и тонкий шёпот папируса, развёрнутого где-то за углом. Чего здесь быть не могло. А в Хемену в этот час было всегда.

Иероглифы пошли по стенам не там, где должны были. Они проявлялись вразнобой — через побелку, через мрамор, через стекло витрин: знак Тота на штукатурке у дальнего косяка, перо Маат поверх пояснительной таблички с латинскими буквами, ряд из четырёх знаков «дом» по нижнему краю плиты. И тут же, на восход — провал, где волна моя не дотянулась до стены, и иероглиф вспыхнул и погас. Домен слабый, домен на одной жертве. Держится не канонем, а упорством поднявшего.

Граница легла там, где должна была — поперёк коридора за дверью зала, золотой полосой. Я ощутил её изнутри: натянутой, готовой лопнуть от нажима обученного жреца, но пока устойчивой. С той стороны коридора шли подкреплением — каблуки по мрамору. Они входили в круг, где правила переменились, и кожа их узнавала это раньше головы.

*Дитя.*

Тот выдохнул это коротко, изнутри черепа, — и тон его был тот, каким старший в Доме Жизни говорит с учеником, сделавшим то, чего в этот час нельзя было не сделать, но чего по канону делать было нельзя, и оба знают это, и оба молчат об этом, и старший только произносит обращение, оставляя весь разбор на потом.

*Это тебе ещё откликнется.*

Я принял.

Я не убрал ладонь — иероглифы шли под пальцами тёплыми, тонкими, неровными, как прошедший три переписи знак на восковой табличке. Подкрепление вошло через дальнюю дверь, и в тот же миг моя граница, идущая поперёк коридора тонкой золотой нитью на высоте человеческого плеча, объявила себя — мне через ладонь, им через кожу.

И каждый ощутил её по-своему: первый сбился с шага, как бы наступив в неровную тень; второй повёл плечом, будто на ту сторону шёл сильный встречный ветер; третий моргнул дважды без причины и тронул свободной ладонью висок. У каждого из них то, что у нас на пятой ступени называлось «узнаванием через кожу», прошло раньше любого знания: они переступили границу, не зная, какое имя у того, во что они вошли, — но тело их знало.

Шесть человек в одинаковых тёмных одеждах, с эмблемами на плечах, с тем же чёрным предметом в руках, что был у первого. Шли по двое в ряд. Седьмой — старший, с другим знаком на груди — шёл в трёх шагах позади.

Справа от старшего шёл человек, у которого на ремне висел маленький предмет — не оружие. Жетон с печатью, размером в ладонь, по форме похожий на малые жреческие амулеты, какие в моё время носили писцы храма. Я разглядел жетон раньше, чем он разглядел меня: предмет сидел на ремне особо, и металл его шёл другим оттенком. У них были не только стволы.

Старший не выкрикнул. Он сказал ровно, как говорит человек, у которого слово работает по службе:

— Цель — мумия. Фронт. Огонь по моей.

Двое первых дёрнули спуск.

Чёрные предметы щёлкнули сухо — глуше кости о кость — и не выпустили из себя ничего. Один дёрнул второй раз, третий; затем посмотрел на ствол так, как смотрят на инструмент, только что предавший двадцать лет ремесла. Тонкая полоска гари вышла откуда-то сбоку у его пальцев, бессмысленная без выстрела, и поднялась к потолку.

Старший дёрнул свой. Раз, второй, третий. На третьем щелчке у него в лице легло понимание. Он не выпустил — опустил, — и развернул голову к тому, у кого висел жетон.

— Печать.

Тот достал жетон с ремня. Прижал к себе обеими ладонями. Шёпотом, на их языке, проговорил одно слово, какое Глас отдал мне без перевода:

*Печать.*

Жетон в его руке коротко мигнул жёлтой искрой и стих. У них были малые амулеты — устроены, должно быть, против той силы, какую их школа знала и привыкла встречать; против моей меры внутри моего радиуса они веса не имели.

— Печать мёртва. Стволы мёртвы. В ножи. Берём в полукольцо. Лидер — в центр. Без шума.

— Хороший лён, — сказал я негромко, скорее себе. — Хороший камень. Хороший дом. Старший повёл лицом — но не на меня: он слушал что-то в чёрном шнуре у себя за ухом, и шнур этот сейчас, по всему, ничего вразумительного ему не отвечал. Он сорвал его одним движением и отбросил.

Они переключились за два удара сердца.

Двое сбоку выдернули ножи — малые, простая сталь. Без формулы, без знака. Но как приняли — так берут чашу в руки старшего по ритуалу. Школа.

Третий присел во фронт. Старший шагнул в центр и взял группу одним взглядом. Тот, у кого не сработала печать, отбросил жетон и взял нож из ладони соседа.

Юноша у разбитого кувшина не отступил — поднял скрижаль повыше, локтями на пол, чтобы кадр шёл ровно.

И тогда они пошли.

Лента льна прошла полукругом и обвила запястье ближнего слева. Нож вышел из его руки. Сам он осел на колено, вывернутое неестественно, и вскрикнул коротко — крик лёг как камень в сухой колодец, без отзвука.

Второй шёл прямым, ножом снизу. Бронзовое лезвие моей секиры встретило сталь его клинка — и сталь лопнула, как плохо обожжённая глина в первую жару. Я повёл секирой по запястью. Не отрезая. Кость хрустнула.

Третьего я не увидел.

Он вошёл в плечо сбоку — низко, на пятках, как ходит обученный по чужим стенам. Лезвие прошло косо по верхнему слою пелен и легло между лопаткой и ключицей. В первое дыхание — давление. Потом боль, тонкая, с горячей нитью внутри. Кровь пошла на лён — впервые за двадцать шесть веков чужая ткань становилась моей.

Нож в ране держит кровь лучше, чем нож в руке. Я оставил его, где он был.

Юноша у разбитого кувшина шагнул *вперёд*, не назад — на полшага, чтобы всё вошло в его кадр одной полосой: моя кровь, рукоять в плече, нападавший, старший у двери. Шаг неправильный по любой школе сохранения жизни. Единственно правильный по той, в какой он работал свой час.

Я повернулся плечом, принял третьего на скипетр и провёл бронзой плашмя по виску. Он сел, не выпуская ножа в моём плече.

И тогда я повёл Жезл.

Не на того, кто всадил клинок. На старшего. На того, кто держал группу одним взглядом.

Жезл Уас потеплел в правой ладони и выдохнул то, что в нём всегда было при мне: не молнию и не удар — резкое съёжение под ложечкой у того, на кого Жезл смотрел. Давление на чужую волю, точное, какому Дом Жизни учил без слов. У старшего отнялся голос — не язык, голос. Команда не пошла. Группа на полудыхании потеряла сцепку.

Он сделал то, что делает командир без голоса: швырнул в меня мёртвый ствол. Тяжёлый, рукоятью вперёд, в висок, на полтемпа быстрее, чем я ждал. Я ушёл плечом. Ствол прошёл по верху скипетра и ударил по постаменту стелы.

Командир без команды, но командир.

Четвёртый и пятый кинулись врозь, без сцепки голоса.левой — секирой плашмя в висок одному. Правой — пеленой по горлу второму, не туго, на три удара сердца до отключения. Они сели одинаково тихо, как мешки, поставленные ладонью.

Старший шагнул вперёд — без оружия, на меня. Школа без оружия, но школа. Я отдал ей уважение тем, что не убил его на первом движении.

Лента легла ему на плечи коротким захватом. Он шагнул в захват, *вперёд*, не назад — и ленте пришлось дотянуть себя ещё на полкольца, прежде чем шея его прошла под ней. Я держал его за горло на расстоянии выдоха.

Закреть я мог. Не закрыл — мне был нужен вестник.

— Уйди, — сказал я. — Передай тому, кто послал: этот дом мой.

Лента отпустила. Вернулась медленно, с тяжестью тетивы после долгого натяжения. Старший попятился — полшага, шаг. Развернулся. Поднял с пола одного из своих, перекинул руку через плечо и пошёл к двери, не поворачиваясь спиной до самой двери. Двое ушли раньше. Я не пытался остановить — у меня не было.

Я сделал два шага к саркофагу и положил левую руку на верхний край; правая, с ножом нападавшего ещё в плече, висела вдоль тела, скипетр в левой руке потяжелел втрое, и лён под лопаткой, пропитанный жертвой Маат, прилип к коже короткой плотной полосой, к которой я ещё не присматривался.

Я заглянул в счёт второй раз.

-- итог --

ка 5 / 100

-- татуировки --

Глас Тота активен

-- артефакты --

Жезл Уас 0 / 1

Скарабей-сердце 3 / 3

-- вера --

(пусто)

Пять долей из ста. Израсходовано почти всё, что у меня было, — но запас оставался, и до отхода я ещё дотянусь. Домен стоял на пепле моей связи с богиней и держал; держать он будет столько, сколько у меня хватит крови гореть. Жезл я истратил на старшего — одно давление, последнее: решение я принял быстрее, чем подумал, и теперь, оглянувшись на сделанное, согласился сам с собой, что давление было правильнее на голос группы, чем на каждого по отдельности; без голоса группа развалилась за полудыхания.

Раны мои сегодня шли по короткому списку: плечо левое — нож, мелкое; кровь под лопаткой от разрыва связи — своя, тёплая, медленная, и пелена прилипла к ней так, как прилипает повязка, сделанная не из правильной марли. До отхода продержусь; до второго боя — если без перерыва — нет.

Скарабей я не тронул. Скарабей стоял на крайний час. Если бы домен сорвало — а он мог сорваться от любой неровной нагрузки, и я знал это, — Скарабей тянул меня обратно к саркофагу на три удара сердца. Уходить я не собирался. Но и снимать его раньше времени было нельзя: то, что у меня осталось из прежней колоды, я держал не для этого боя, а для следующего. И следующий шёл.

Я вытащил нож из плеча сам. Кровь пошла активнее, потом замедлилась — моя кровь, побывшая без движения двадцать шесть веков, не торопилась; нож я отбросил, и он лёг рядом со скипетром на постаменте, сухой стук стали о камень показался в зале чужим. Плечо у меня в новом мире было то же плечо, что и в старом.

Воздух в зале стал плотнее, чем был минуту назад, — домен дрожал, и каждое моё дыхание шло теперь через эту дрожь, как идёт ход нити через утончённое полотно: не рвало её, но напоминало о слабости.

И тогда в зал вошёл седьмой.

Я различил его раньше, чем он переступил порог. Воздух в зале сменил плотность во второй раз за это утро — не от шага его и не от голоса. Под человеческой кожей вошедшего стояло другое: древнее, голодное, не его.

Поток ка в помещении пошёл дрожью. Домен на пепле Маат коротко прогнулся, как прогибается ладонь под тяжестью, какую не ожидала.

Тот в груди у меня замолчал — впервые с часа пробуждения. Молчание это легло на меня тяжелее любого из его слов.

Охрана в коридоре расступалась перед ним иначе, чем перед старшим: перед старшим расступались по службе, перед этим — потому что так уже расступались до него для тех, кто до него шёл. Молодой. Одежда — сбитая чуть набок, будто человек собирался для одного, а пришёл сюда из другого. Красив той красотой, что в моё время слыла несчастной: при ней не успевал вырасти характер — а у этого, под коркой чужого бога, и не должен был.

Под красивой человеческой кожей жило другое.  
Это не был человек.

## Глава 3

Воздух перед вошедшим стоял плотнее на одну линию плотности. Я отметил её прежде, чем повернул голову: в шаге у этого был не один шаг — на полудыхание шла вторая поступь, чужая, не его.

Под молодой человеческой кожей жило другое: плотное, вьёвшееся в кость, давно сросшееся с собственной костью встречного, так что граница между ним и им не различалась. У нас в Хемену для такого было малое слово, какое не идёт в гимн.

Над правым плечом у него стояло мерцание — узкая полоса густого воздуха в ладонь высотой, без блеска и без движения, ровная, как малое пламя над свечой в безветренный час. Гроза, не сошедшая с горы. Молод. И страх его шёл молодой — спрятан под лень, не под выдержку.

Юноша у разбитого кувшина увидел вошедшего раньше меня — он на дверь смотрел через скрижаль свою, в её щели, — и в скрижаль крикнул, не успев себя остановить:

— Чуваки!.. Чуваки, это ж Воротынский! Это Серёга Воротынский, младший, я его в прошлом году на параде Перуна видел, у меня на это видео есть, я его узнал, ёпрст, чуваки, мы реально попали...

Имя его легло ко мне через Глас с его знания. *Воротынский. Серёга* — ласковая форма от другого, длинного. *Род, поднимающий молнию* — это у Гласа вышло одной строкой, по тону, как идёт у писцов общая запись. Молодой узурпатор был не безымянной волей в коридоре. Был наследник дома, у которого, видимо, была своя стела в их городе и своё имя на ней. Это меняло раскладку: впереди стоял не воин, а сын.

Он остановился в десяти шагах от меня и осмотрел зал. Лежащих. Связанных. Разбитую витрину. Кровь на мраморе. Взгляд у него был тот, какой бывает у человека, которого оторвали от чего-то приятного и поставили перед очередной служебной обузой.

— Опять разлом, — сказал он лениво, не мне — голосом для своих в коридоре. — Третий за неделю. Будто вам тут мёдом намазано.

Глас дал слова в череп без щели. *Разлом. Третий.* — это легло сразу. *Мёдом намазано* — Глас отдал смысл, но шутка на меня не легла: я подумал сперва про пчёл его города, потом про знак «сладкое», потом понял по тону. Не пчёлы. *Ходите сюда, как свои.* Метафора их города, не моего; Глас не разворачивал шутки — Глас давал слова, шутки оставались на мне.

— И опять не дадут поужинать. — Он вздохнул. — Жалко. Девушка такая попалась.

Он прошёлся взглядом по моему льну — по семи слоям, по проступившей черноте формул, по обнажённой части груди под пеленой. Усмехнулся криво.

— Ты что — мумия? Из этого музея? — Голос его не изменился, тон всё тот же ленивый. — Серьёзно? Они теперь что, экспонаты разломом поднимают? Папуас. В простыне. Из тематической витрины.

*Папуас. В простыне. Экспонат.*

Три слова сложились в одно: *вещь, не имеющая права на лицо.*

Слова шли у него легко — не своей рукой ставленные, чужим голосом из чужой кости. То, что стояло у него под кожей, проговорилось раньше его собственного.

— Ты говоришь чужими словами — теми, что не выросли с тобой, — сказал я тихо. — Замолчи, пока я не закрыл тебе рот сам.

До юноши дошли не слова — один тон.

Он моргнул. Медленно. Как моргает человек, увидевший что-то, слегка не вписывающееся в график вечера. Потом поднял правую ладонь:

— Ладно. Закрываем.

И вспыхнул — не лицом, лицом он остался белый, — а тем резким вертикальным мерцанием над плечом, в которое сошлись все кости его молодой воли разом. Гроза сошла с горы.

В зале, где не было неба, гроза не должна была сходить. У нас в Хемену молнии шли с неба и били в землю; у этого носителя молния шла из ладони и держалась в воздухе под плоским потолком, без облака, без хмары, без заранее идущего гула. Я отметил это в общей графе нехваток моего понимания и положил между лампой без фитиля и стеклом без шва — туда же, где у меня лежало чёрное орудие без полёта.

Я положил правую ладонь себе на грудь, под верхний слой пелен. Свиток открыл лист. Перед таким ударом смотрят в свой счёт первым делом — битва формул выигрывается не силой, а трезвостью раскладки.

Я заглянул в Свиток.

-- свой счёт : читает чужого --

ка 6 / 100

-- татуировки --

Глас Тота активен

-- артефакты --

Жезл Уас 1 / 1

Скарабей-сердце 3 / 3

-- вера --

(пусто)

Шесть долей из ста.

В мои годы юный послушник Хемену в первый месяц службы выходил на двенадцать. Средний жрец стоял на восьмистах. Я держал тысячу. Шесть — это даже не жрец первого года. Шесть — это человек, у которого через долю-две отнимут плечо, потом голос, потом ум.

Стояние в домене подкармливало медленно — домен сам отдавал обратно тонкую нить ка, забранную при разрыве связи с Маат, по капле в минуту. Связь моя с богиней лежала пеплом, фильтр держался на одной её доле. Свиток горел ровно. Жезл — Тот за ним приглядывал — успел восстановиться на одно давление, пока носитель шёл по коридору. Скипетр-секира у меня в левой нёс формулу по нижней кромке. Скарабей я держал на отход; трогать его в бою — выход за предел того, для чего он был мне дан.

Фильтр Маат у меня в радиусе домена держал чужой ствол. Но не держал чужой разряд: молния шла не от пороха, а от чужого бога в кости, и Маат на это закона не имела.

Против пороха фильтр. Против узурпации — скипетр.

Молния пошла из его правой ладони — белая, ветвистая, с тем синим запахом, какой дают только сухие грозы конца месяца Тот. Я повёл скипетр-секирой навстречу.

Бронзовое лезвие приняло.

Молния прошла по нижней кромке, по двум строкам формулы, и формула расщепила её надвое — как нож расщепляет сухую щепу. Одна половина ушла в пол чёрной отметиной, зашипела на мраморе; вторая поднялась к потолку, разбрызгалась по белому квадрату светильника, и квадрат лопнул с глухим хлопком, осыпав зал мелкой стеклянной пылью.

Юноша у разбитого кувшина дёрнулся всем телом — лампа лопнула в трёх шагах от него, — и в скрижаль крикнул, не успев себя остановить:

— БЛЯТЬ! Чуваки, лампу разорвало, я цел, я снимаю, не отрубайтесь!

Стеклянная пыль ещё оседала на мрамор, когда тишина после хлопка лампы легла поверх зала — короткая, плотная, та, что у нас в Хемену случалась в храме на одну дробь между двумя ударами тонкого колокола: оттуда, оттуда, оттуда — и вдруг ничто. В этой паузе я различил собственную кровь в висках громче лампы. Звон был мой, не зала.

Аристократ опустил руку. Помолчал.

— Ого. — Тон сменился — короче, без лени. Он впервые за минуту посмотрел на меня внимательно. — Не разлом. Что-то другое.

Он отступил. Не на полшага — на три, к самой двери. И в этом отступе я отметил, что внутри у него работает не позёр: рука сама пошла на дальний край зала, плечи раскрылись на чужую дистанцию. Кость его знала свой метод раньше его головы. Дальний бой — то, на чём стояло его ремесло.

— Ладно, — сказал он, теперь спокойно, без лени и без злобы. — Будем по протоколу.

Он развёл обе ладони и собрал в них не одну молнию, а три, расходящихся сухими ветвями, и не выпустил их сразу — стал собирать ещё. Запах в зале сменился: трава перед ливнем, какая бывает за минуту до того, как небо разойдётся над полем.

Я поднял Жезл Уас.

Жезл потеплел и выдохнул — короткое давление, направленное не в самого аристократа, а в ту тонкую нить, по которой чужой бог говорил его рукой. Не оборвало — натянуло. У него между бровями выступил пот, молодое лицо коротко перекосило.

Три ветви ушли. Не одна — все три. Кривые, ветвящиеся не по дорожке, какой их клал чужой бог, а по той, какой их мог провести он сам. Слабее. Но три.

Я успел встать к ним левым плечом и принять на скипетр.

Бронза откликнулась тяжелее, чем в первый раз. Формула резала первую молнию, вторая прошла мимо щеки, третью я принял на лезвие — и снизу, по запястью, меня обожгло короткой горячей полосой, не глубокой, но злой. Рука в правой пошла мелкой дрожью.

— Однако, — сказал аристократ сквозь зубы. Голос его вернул половину прежней лени, ладонь снова собиралась. — Серьёзная мумия.

И тогда он сделал то, чего я ждал: поднял обе ладони и развёл их в стороны. Между ладонями у него протянулась нить молнии — не атакующая, удерживающая. Нить пошла шире, к стенам, и поднялась стеной — синей, тонкой, сухо потрескивающей — поперёк зала, между ним и мной, отрезая дистанцию.

Стена.

Простая школа охотника на тварей: запереть тварь в круг, держать на расстоянии, добивать издали. Я был в круге. Он — за стеной. У меня было полминуты до того, как он соберёт следующий разряд и пустит через стену в меня.

Дистанция — его. Время — против меня.

Я не пошёл вокруг стены. Не было дороги: стена шла от пола до потолка, от витрины до колонны, край к краю.

Я шагнул в стену.

И тронул Скарабей.

Один заряд из трёх. Скарабей-сердце висел у меня на груди, и в эту минуту я тронул его правой ладонью — без благословения, торопливо, потому что Скарабей я держал на отход, а не на пробой. Скарабей выдохнул мне в грудь короткий толчок вперёд — на полшага, на полтемпа, на самую границу того, что он умел, через линию, которая не моя.

Я прошёл стену.

Прошёл — но не без цены. Молния стены легла мне на правое плечо снаружи, в той полосе, куда не доходит ладонь, чтобы прикрыть. Ткань пелены загорелась коротким сухим жаром, тут же погасла, оставив гарь. Боль — глубокая, тонкая, ведущая вниз по руке к локтю.

Я не остановился.

Я был у аристократа за правым плечом раньше, чем он успел развести руки шире.

Скипетр-секира пошла по короткой дуге, плашмя — не насмерть, в почку. Аристократ согнулся. Я перехватил скипетр в обратный хват и положил кромку с формулой между лопаткой и позвоночником сзади. Не давя, не режа — ставя.

Формула пошла по бронзе изнутри резким золотым током.

Связь между его костью и тем, что в ней говорило, оборвалась рывком. Аристократ коротко вскрикнул — не голосом, другим звуком, какой у молодого человека идёт из той части груди, какую он сам в себе никогда не находил. Колено его подломилось. Я придержал скипетром, чтобы не упал.

Стена за моей спиной погасла одновременно с разрывом.

И тогда он сделал то, чего я ждал.

Он крикнул.

Не молитву и не имя. Команду через плечо, в коридор, в свою охрану:

— Стреляй! Через дверь! Все!

Команда вышла надорванная, без середины голоса, — но была понятна. Охрана в коридоре её услышала. Стволы щёлкнули — пять, шесть, семь сухих щелчков. Без выстрелов. Граница домена резала чужой разряд по той же мере, по какой резала первый: пули из стволов не выходили. Тонкая полоска гари поднялась из коридора, длиной во много пальцев, и легла поперёк двери, бессмысленная.

Юноша со скрижалью лёг плашмя на пол, но скрижаль из руки не выпустил, держал её перед лицом, ловя в кадр коридор и аристократа разом.

Он не побежал.

— Сообщить князю, — сказал аристократ тише, не мне, тому же коридору, из своей раны. — Группа вторая. Перевал. Снять.

Он ещё не сдавался.

В коридоре их услышали. Где-то в глубине здания тонко, едва слышно, заработала рация.

Я подошёл ещё на шаг. Через Глас, направленный ему прямо в череп, я сказал ровно:

— Этот дом — мой. Передай тому, кто послал. Уйди.

Слова легли в его череп без перевода. Лицо дрогнуло короткой судорогой — и в этой судороге было больше осознания, чем во всём, что он за свою короткую жизнь думал.

Он попятился.

Сначала на ладонях — медленно, собирая разбросанные по залу осколки своей гордости. Потом на коленях. Когда он встал, плечо справа повисло, и под рубашкой расхотелось мокрое тёмное пятно. Но он не пошёл сразу к двери.

Он остановился у порога и положил ладонь на каменный косяк.

Я увидел — не услышал, увидел сквозь Глас — что пошло в его ладонь. Не молния для удара. Метка. Тонкая тлеющая нить узора впивалась в порог, оставляя за собой запах горелого известняка. Он подписывал дверь. Не как гость — как хозяин, который отмечает границу, собираясь её сдвинуть.

— Значит, ты дышишь, — сказал он в камень. Не мне. Камню. Голос его шёл ровно, но под ровностью стоял другой тон — тот, каким говорят, когда только что поняли, что мир больше, чем они думали. — Я запомнил запах.

Он убрал ладонь. На косяке остался тёмный ожог — узкая ветвь молнии, тлеющая без дыма. Запах горелого камня повис в коридоре, тяжёлый и медленный.

Тогда он пошёл. Без оглядки. Как идут те, кто оставляет за собой не тень, а обещание.

Я хотел его догнать.

Я мог бы. Если бы я был тем, чем был двадцать шесть веков назад. Если бы домен не дрожал. Если бы Жезл не был пуст. Если бы Скарабей не стоял на двух зарядах вместо трёх. Если бы плечо моё не текло, и запястье не саднило, и в правой не дрожала рука.

Сегодня — нет. Сегодня я отдал всё, что у меня было.

Я опустил скипетр. Колени мои не подломились — но тяжесть пошла по ним, как идёт после долгой работы у писца, который провёл за столом без перерыва восьмой час.

В коридоре уже работала рация. Но в рации шло не то, что прежде. Не «перевал» и не «снять». Голос Воротынского, лишённый прежней лени, сказал коротко:

— Готовить «Перуна». Полный. На рассвете.

Я выпустил его. Я хотел, чтобы он передал.

Дверь захлопнулась.

-- итог --

ка 1 / 100

-- татуировки --

Глас Тота активен

-- артефакты --

Жезл Уас 0 / 1

Скарабей-сердце 2 / 3

-- вера --

(пусто)

Одна доля из ста. Скарабей я тронул сам — впервые с укладки, и на бой, не на отход; в счёте у меня осталось два заряда, и я знал, что трогать второй сегодня не имею права. Жезл пуст. Скипетр унёс на кромке тёмный след по бронзе там, где принимал вторую молнию аристократа; кромка простоит ещё одну формулу, может быть две. Не больше.

Раны мои на сегодня шли третьей графой — плечо левое от ножа, запястье правое от ожога стены, плечо правое от прохода через стену, — и графа эта в счёт не лезла, ибо в счёте раны лежат прозой, не числом. Раненым я не значился. Человек, в которого за это утро попали трижды, «здоровым» тоже не значился.

В зале остались: я, юноша у разбитого кувшина со скрижалю, двое связанных охранников у первой колонны, тело того, кого я снял в начале, и тонкая стеклянная пыль на полу.

Я опустил руку с Жезлом.

Лён на плечах осел медленнее обычного — пелены устали. Я сел на край саркофага, не выпуская скипетра. Ко мне пришёл аромат — мир и мука, тёплая ладонь у затылка, тишина того сорта, в которой мужчина провожает мужчину дальше, чем дальше идти. *Петосирус, рука твоя пахла миром и мукой, и ты молчал; я согласился, потому что мой господин рассчитал, что иначе не вернёт Маат, и ты молчал об этом тоже, и я не знаю, простил ли ты меня.*

Я закрыл графу.

Юноша у стекла шептал в скрижаль медленнее. Он смотрел на меня поверх скрижали, и в его лице было то самое утреннее выражение работника, у которого улов оказался крупнее самых смелых ожиданий.

Я встал.

Между мной и стелой оставалось семь шагов и одна витрина.

Тишина после боя стояла чужая. Помещение ещё помнило шаг чужих ног, держало в воздухе едкий запах гари без выстрела. Первым в ней заново задышал я сам.

Я выровнял дыхание — восемь вдохов, по счёту. Старый ученический порядок: гнев первой минуты дёрнул дисциплину, домен принял на себя расход, собирать себя обратно проще на детском счёте.

Своя рана была мелкой. Под верхним слоем пелен, там, куда вошла единственная за это утро горошина — та, что вошла у саркофага, ещё до домена, — ткань потемнела одним пятном. Кровь моя, побывшая без движения двадцать шесть веков, не торопилась. Плечо двигалось. Рука держала.

Запястье обожжённой правой саднило ровно. Плечо правое тяжело опускалось — ткань на нём почернела по краю прожжённого пятна, кожа под тканью пошла волдырём. Графа боли набралась за это утро третья.

Я осмотрел зал. Связанные у первой колонны. Тело у стенда с фигурками — малая расплата, Маат её держит, моей работы там нет. Четверо подкрепления вдоль колонн — кто за плечо, кто за голову, кто за вывернутое запястье. Двое ушли по коридору.

Юноша у разбитого кувшина опустил скрижаль и поднял снова. Он не уходил с самого начала.

В скрижали его, краем сознания, я видел через щель Гласа быстрый поток малых надписей — комментариев. Чужие лица отвечали ему через ту же скрижаль маленькими письменами на стекле, и ответы шли одновременно от многих, в один ком, без разделения. У нас в Хемену писец говорил с одним; этот писец говорил с тысячей. Я не разбирал по сколько — я разбирал, что многих, и многих сразу. Шестая нехватка моего понимания за это утро лежала в его стекле, в этих маленьких написанных одновременно отвечающих руках, — и нехватка эта была глубокая.

В углах зала пульсировал золотой оттенок — ровный, негромкий.

Я пошёл к стеле — медленно. В первый раз я шёл этот путь быстро: между мной и стелой стояло подкрепление. Теперь подкрепления не было. Я шёл по второму разу — первый был сделан рукой, этот сердцем.

Семь шагов и одна витрина. Босой, в окровавленных пеленах, с Жезлом в правой и скипетром в левой. На встречу с памятью идут пешком.

Я обошёл витрину с ушебти — мои, лицами кверху, мастера Анхуэра. Не остановился: ушебти подождут.

Стекло перед стелой стояло в пазу, открытое — я сдвинул его ещё в первый раз. Я сделал последний шаг.

Стела была здесь.

Полтора с лишним моего роста, серый камень, ровный, сколотый по одному нижнему углу — старый скол, ещё в моё время, — и иероглифы по всему полю, столбцами сверху вниз и справа налево, как было правильно для гимна Тоту высокой стилистики. И теперь, во второй раз, я прочёл их не как читают по работе, а как читают, придя домой. Первая строка была моей; я писал её сам, надиктовывая по памяти молодому писцу из второго рукоположения, и узнавал в ней свою привычку ставить знак *черчуть* приподнятым над строкой. Дальше шли строки общего гимна, какие в моё время знал наизусть всякий, кто прошёл первый год.

Нижние строки были другие.

Не мои — но узнаваемые: тот мягкий правый наклон, который оставался у Петосириса с годов его учения, когда он учился писать, придерживая папирус локтем, и не отучился даже тогда, когда папирус ему уже не нужно было придерживать. Он писал эти строки после меня. Он писал их *обо мне* — это была эпитафия, посмертная формула, которую сын составляет отцу, когда отец уже лёг и не может поправить.

И я прочёл, и в моём горле остановился вдох на половине.

Имя моей жены стояло без титула жрицы Хатхор и без того знака, которым у нас обозначали живого человека на ритуальной поверхности.

Несхонс.

Имя стояло в нижнем поясе, в одной строке с именами Мерит-Тот и моими предками, и над всеми этими именами стоял общий знак — тот, которым в Гермополе обозначали ушедших.

Я не сел.

Я не закрыл глаз — иначе строка осталась бы непрочитанной, а имя непринятым. Я дочитал три строки эпитафии Петосириса до последнего знака. Мой сын писал обо мне с почтением высокого жреца к учителю и с тем коротким сухим теплом, что мужчина оставляет мужчине, когда других свидетелей нет. Он не писал ни о чём, кроме того, что я был жрецом Тота, верным расчёту своего господина, и что моё имя пусть пребывает в Доме Тота во веки.

Он не писал, что мать его пережила меня надолго.

Он не писал, что Мерит-Тот выросла.

Он не писал многого; и в том, чего он не писал, было больше, чем в том, что писал.

Я положил это в самую глубокую графу.

Туда, где лежали два года перед мумификацией и ночь перед нею. Рука Петосириса у моего затылка. Запах миро и муки.

Палец Мерит-Тот в чаше с молоком — она не вынимала его, пока её не прогоняла мать; и смеялась коротким женским смехом, какому ещё не доучилась.

Спина Несхонс на пороге дома, в одеяле и пыли двора. Плечо её выше моего, потому что она стояла на ступеньку выше.

Локоть Петосириса, тёплый через рубашку, когда он засыпал у меня сидя — в его три разлива он засыпал так часто.

В эту графу.

## Глава 4

Самую глубокую графу я закрыл, и закрытие это легло на меня тяжестью отдельной — поверх тяжести усталой руки, поверх тяжести правого плеча с прожогом, поверх ровной саднящей правды правого запястья. Я опустил скипетр-секиру у нижнего камня саркофага — острием в пол, рукоятью к моему колену, — и сел на тот же камень, на котором сидел до боя с молодым узурпатором, и поставил Жезл рядом, и положил левую ладонь на колено.

Тело моё пришло в ту минуту, когда я перестал ему приказывать. Двадцать шесть веков без движения и одно утро движения подряд сложились в коротком возврате крови к рукам и ногам, и возврат этот шёл медленнее, чем у человека после ночного сна. Кровь моя, как я уже отметил у стелы, не торопилась.

Раны я положил перед собой, как кладёт писец три отдельных свитка, прежде чем взяться за каждый по очереди.

Левое плечо — мелкое, ножевое, верхняя ткань под верхней пеленой. Горошина железа вошла у саркофага, ещё до домена; глубины в ней было на полпальца, не более; кровь стояла одним пятном и не двигалась. Этой ране я давал имя первое — потому что она была первая по времени.

Правое запястье — ожог, тонкий, ровный, по длине ладони. След от чужой грозы на бронзе, той, которой я парировал молнию аристократа. Бронза остановила, но через бронзу прошло. Кожа на запястье покраснела дробно, мелкими точками, как покрасневает кожа после слишком близкого огня; на двух точках стояли пузыри в ноготь.

Правое плечо — прожог глубокий, через лён, через нижнюю пелену, до кожи. След от прохода через стену молодого узурпатора, того прохода, на который я снял один заряд скарабея и который оказался дороже всех других моих расходов за это утро. Под обугленным краем пелены стоял один пузырь в две ладони — натянутый, бледный, чёрный по обводу. Этой ране я давал имя третье и опасное.

— Слышь, — сказал юноша со скрижалю у разбитого кувшина. — Брат... слышь. В подсобке аптечка. Бинт, перекись. Я не пойду без тебя, ты только... не падай.

Глас отдал мне слова в череп — без щели и без задержки, как уже было всё это утро. *Аптечка.* — значение пришло чистым: малый ларь с лекарственными принадлежностями, какие у них тут держали в работных местах для первой нужды. Самого ларя я никогда не видел; знание его лежало у меня одним языком, без работы рук. *Перекись.* — Глас отдал значение: жидкость, шипящая на свежей ране. Лечение этой жидкостью шло у них тут в первой нужде; у меня в той же первой нужде стояла формула пастуха. *Не падай.* — легло прямо, без щели.

Я посмотрел на юношу. Он стоял в шести шагах от меня, у разбитого глиняного черепка, со скрижалю своей, опущенной до пояса. В руке у него уже не было прежней деловой нервности — была другая, более тихая, та, что бывает у человека, который видел, как другой человек принял третью рану и сел.

— Сиди, — сказал я ему ровно. — Я разберусь сам.

Я не стал объяснять ему, почему. Объяснять чужому, что лён жжённый стоит выше его перекиси и что у меня в Свитке есть формула для стяжки малой раны, — было бы тратой того воздуха, в котором у меня и так стоял дефицит. Юноша опустил голову, кивнул и сел на корточки у разбитого кувшина. Скрижалю он не выпустил.

Я разобрал слои пелены у левого плеча.

Семь слоёв, как полагается на жреце пятой ступени; верхний — золотой нитью прошит, нижний — чистым льном без обвязки; между ними — формулы, нанесённые мелким знаком по краю каждого пояса. Петосирис, в ту последнюю ночь, прошёл по верхнему контуру моей работы; нижние пояса делал сам я, заранее, в храмовой комнате, без свидетелей. Сейчас, раз-

бирая их, я узнавал собственную руку и собственный порядок; некоторые знаки я ставил с запасом — на этот сегодняшний расход они не были рассчитаны, но малую рану держали.

Я снял верхний пояс с плеча, нашёл свою кровь — тёмное пятно с одной горошиной — и приложил к ней ткань второго пояса, чистого и сухого. Над пятном я провёл двумя пальцами правой руки короткую формулу стяжки малой раны — ту, которую у нас в Доме Жизни заучивали на третьем году, и которую старшие писцы называли «формулой пастуха», ибо она годилась для всякого пастуха в поле без храма и без жреца. Меритптах называл её «формулой первой нужды».

Тонкая золотая нить сошла с моих пальцев и легла на пятно — не свечением, а сухой теплотой. Кровь остановилась. Кожа стянулась под нитью медленно, не в один удар сердца, но за восемь.

Я отметил, что нить легла слабее, чем ложилась у меня в храмовой комнате двадцать шесть веков назад. Не потому, что знак забылся. Потому, что ка у меня сегодня было меньше, чем у послушника первого года; и из этой малой доли я ещё расходовал на каждый стук. Я заглянул в свой счёт — без щели, привычным внутренним поворотом, как смотрит писец на свой свиток через плечо.

Одна доля из ста стояла прежде.

Стяжка съела половину.

Половина доли из ста.

Этот размер я уже знал по утру: на таком запасе работают люди, которым осталось доходить до постели, и не делают по дороге лишних шагов. Я отложил формулу стяжки от двух других ран. Запястье и плечо правое подождут лёна.

Я взял у себя из верхнего пояса полосу льна, поднёс её к огню — огня в зале не было; я провёл по полосе короткой формулой жжения, той, что ставит на льне сухой жар без пламени. Полоса потемнела по краю, легла к ране правого запястья, и саднящая ровная боль отступила одним коротким шагом — не ушла, но осела на дно.

Правое плечо я не трогал.

Этой ране нужна была подложка масла или мёда, ни того ни другого у меня не было; закрывать её знаком я по запасу ка не имел права. Я оставил пузырь как есть — пусть стоит, пока не лопнет сам или пока я не найду масло. Лён я только подложил поверх, чтобы ткань пелены не натирала. Боль я опустил на дно тем же коротким движением, без пафоса. Формулой боль не уходит; она только переводится туда, где не мешает работе.

Я выровнял дыхание — восемь вдохов, по счёту. Скипетр-секира лежал у моего правого колена; Жезл — у левого. Левая ладонь моя оставалась на колене; правую я опустил ниже — на грудь, под верхний слой пелен, к Свитку.

Свиток отозвался теплом сухого папируса.

Я провёл пальцами по знаку.

-- Свиток : сводка домена --

ка 1 / 100 (тонкая нить)

возврат медленный : темп ма-нес

-- слой Маат --

фильтр одна часть из пяти

(Меритптах, лист семнадцатый:

«домен молодого жреца - пятая мера»)

-- татуировки --

Глас Тота активен : работает на дыхании

-- артефакты --

Жезл Уас 0 / 1

Скарабей-сердце 2 / 3

-- стела --

проявлено пять знаков из сорока семи

связь устойчивая : разлив 1 / 10

-- домен --

О радиус этот зал : восход коридора

сорок восемь шагов

-- швы --

X восточная дверь шов первый : шириной в ладонь

X потолочная щель шов второй : узкий, выше людей

X северный угол шов третий : по линии стекла

-- стража --

(пусто)

-- вера --

(пусто)

Я держал руку на знаке дольше обычного.

Сводка стояла в воздухе тонкой золотой пеленой, висела у меня перед грудью, не выше плеча. Юноша со скрижалю у разбитого кувшина смотрел на меня поверх кромки своего стекла, и в стекле его, краем сознания через щель Гласа, я видел отражение моей сводки — тех же знаков, тех же столбцов, той же тонкой золотой нити. Сводка стояла и в его стекле тоже.

Это я отметил отдельно.

Я уже знал, что юноша этот пишет в свою скрижаль и что в скрижаль его смотрит много людей; теперь я знал, что эти многие видят не только меня и не только мой зал, но и мою служебную сводку. Привилегия Свитка перестала быть привилегией одного жреца. Не в моих руках это перестало быть; в моих руках всё ещё было моё. Но эхо моего Свитка теперь лежало в стекле чужого писца — и через писца этого расходилось дальше. Я не торопился определять, хорошо это или нет; за это утро у меня уже было четыре события, которых у нас в Хемену не было, и каждое из них я положил в общую графу нехваток моего понимания. Это легло пятым.

Я провёл взглядом по новым строкам сводки.

*Фильтр Маат* — одна часть из пяти. Слой Маат я сжёг на подъёме домена ещё в прошлом часу. Из пяти долей моей старой связи с госпожой осталась одна. Меритптах в листе семнадцатом писал об этом сухо: домен молодого жреца стоит на пятой мере фильтра — то есть на одной части из той, какую держит старший. На этой мере я и стоял.

*Швы.* Три тонких разрыва в моей пелене домена — у восточной двери, по щели в потолке, в северном углу по линии стекла. Швы были не велики, и каждый из них стоял там, где у меня не хватало воздуха ка, чтобы натянуть пелену до плотной. Я уже знал, что пелена домена — не пузырь, как могло показаться по первому ощущению, а ткань — и ткань эта имеет шов в каждом месте, где она ложится на чужой материал. Каждое окно, каждая дверь, каждая трещина в потолке — место, где шов идёт по новому стежку. У меня этих стежков по сорока восьми шагам набралось три.

*Стража — пусто.*

Эта строка лежала ниже всех остальных, и в ней не было ни числа, ни иероглифа на конце — только пустое поле, где у Свитка обычно стоит счёт.

Рука опустилась с груди.

Сводка осела медленно. Краем глаза я ещё некоторое время видел её — не самой пеленой, а тонким золотым следом в воздухе у моего правого плеча. Свиток у меня тёплым кругом стоял под пеленой.

Встать вышло не легко. Левое колено отказало на одну меру; я перенёс вес на правое и удержался на скипетре. Скипетр у меня в ту минуту стоял не оружием, а посохом, и я был не против.

По залу я пошёл медленно — не потому, что хотел медленно, а потому, что иначе упал бы. У первой витрины я себя остановил — в той, где стояли мои ушебти. Тридцать восемь штук, лицами кверху, мастера Анхуэра, гермопольской лепки, с тем особым закругленным затылком, какой у Анхуэра выходил у всех его ушебти подряд и по которому его можно было узнать с трёх шагов. Я провёл Гласом по табличке у витрины — стекло мелких чёрных знаков на белом, какое у них тут стояло у каждой витрины и какое читалось через Глас как короткий писцовый отчёт.

*Ушебти, гипс, поздняя XXVI династия, Гермополь, гробница жреца Джехутти-Ирдиса. Мои.*

Я отметил их к строке стражи. Тридцать восемь ушебти — это тридцать восемь возможных служителей, поднятых по формуле, требующей касания каждого и одной общей формулы. На это касание у меня сегодня ка не было; но они были здесь, в стекле, и стекло я уже один раз сдвигал.

Я пошёл дальше.

Через две витрины стояла фигурка из глины — не моя; я узнал по работе. Сидонская лепка, второй город побережья, мастер не известный по имени, частая работа на торговый ход. Глас прочёл табличку: *Фигурка погребальная, Сидон, V век до н.э.* Это была чужая работа, и к строке стражи я её не отнёс. У нас в Хемену таких не держали; у меня в гробнице такой не было.

Через ещё одну витрину — серебряный сосуд с двумя ручками. Не мой. Финикийскаяковка, поздняя.

Через ещё одну — мой канопический сосуд с крышкой в виде головы павиана. Свой — Гермополь, моей работы заказ. Глас прочёл табличку: *Канопа, гипс, гробница жреца Джехутти-Ирдиса. Моя.*

Я медленно прошёл вдоль одной стены. Половина зала была моя, половина — чужая. Чужая половина была заполнена работами других мест, других школ, других времён — Сидон, Финикия, поздний Птолемеев Египет, римский Египет, какого я уже не видал. Моих экспонатов набиралось около пятидесяти; чужих — около ста. Этот зал, видимо, держал у себя не одну гробницу, а сборную выставку, где моя гробница занимала первую витрину, а дальше шли соседи по эпохе и соседи по соседям. Я не стал отмечать это с раздражением; раздражение моему делу мешало.

— Слышь, — сказал юноша. — А это правда твоё всё? Вот эти все ушебти — твои?

Он шёл за мной в трёх шагах, скрижаль у него стояла горизонтально, направленная в мою сторону.

— Мои, — сказал я. — Тридцать восемь.

— А ты их... ну, чем-то поднимешь, да?

Я не ответил. Через Глас я услышал в его словах не столько вопрос, сколько надежду — у писца этого был свой расход, и расход его шёл на чужих смотрящих в его стекло; каждое поднятое мной ушебти увеличивало этот расход. Против него я ничего не имел: писец работает на ходу того, рядом с кем стоит, и иначе ему работы нет.

У дальней витрины я остановился.

В этой витрине, прислонённый к задней стенке, стоял саркофаг — в полный рост, тёмно-коричневый, с золотой росписью по нижнему поясу, с лицом мужчины, нанесённым по верхней крышке без особой портретной нежности, обычным канонным письмом школы Эдфу. Стекло перед саркофагом стояло на пазу, закрытое. Под стеклом — табличка.

Глас прочёл табличку.

*Саркофаг жреца Хор-Ха-эм-Эдфу, XXVI династия, поздний период, Эдфу.*

Я остановился.

Хор-Ха.

Имя само по себе мне ничего не говорило — Хор-Ха было распространённое имя жреца Хора, какое носили несколько сотен мужчин на протяжении одной поздней династии. Но школа Эдфу шла у меня в памяти отдельно от школы Гермополя; в Эдфу служили Хору, у нас — Тоту; ритуалист Эдфу был мне коллега через бога, не через ремесло. Поздний период — это значило, что Хор-Ха умер позже меня. На сколько позже — я мог бы определить по тонкому смещению формул на саркофаге, если бы стекло было сдвинуто. Сейчас оно было закрыто.

Я провёл взглядом по верхней крышке.

Формул вокруг саркофага не было — то есть тех самых охранительных формул, какие у нас в Хемену по обычаю клали под нижний камень, у изголовья и у ног. У Хор-Ха формул не было. Возможно, в его гробнице они были — но из гробницы саркофаг увезли, и под него никто не положил охранительной подложки. Хор-Ха спал в стекле без формулы.

Это я отметил.

Поднимать его сейчас я не имел права — не на одной доле ка из ста и не с одним полуразвёрнутым слоем. Формула возврата ка на чужого жреца того же ранга стояла у меня в Свитке на третьей ступени; я знал её наизусть; я ни разу не применял её при жизни. У нас в Хемену она шла как формула высокого обряда и стояла в применении не меньше трёх восьмых ка зрелого жреца. На моих сегодняшних долях её разворачивать было всё равно что зажечь ритуальный костёр одной соломинкой.

Завтра.

Завтра — если я доживу до завтра в этом зале без стражи.

Я отступил от стекла на один шаг и пошёл обратно к саркофагу.

— Ой, — сказал юноша. — А там тоже мумия? Ничего себе. У них тут что — целое... кладбище в зале?

Я не ответил.

Через Глас я отметил, что юноша на каждый мой шаг говорил вслух — то ли мне, то ли в свою скрижаль, я уже не различал. Скрижаль его стояла прямо, и в ней через щель Гласа я видел всё тот же поток коротких надписей-комментариев и всё ту же тонкую золотую тень моей сводки. Юноша держал три шага позади и не сбивал шаг ни разу.

— Слушай, — сказал он. — Я Кирилл. Ну, чисто чтобы ты знал. Можешь меня... ну как там у вас — писец? Я твой писец, короче.

Глас отдал имя через череп: *Кирилл*. Имя короткое, чужое, без титула, без эпитета. У нас в Хемену писцов так не называли; у них тут, видимо, имя стояло без должности и без школы.

Я положил имя в строку рядом с *скрижаль, стрим, подписки*— теми словами, какие я за это утро уже снял с него Гласом.

— Кирилл, — сказал я ровно. — Стой за мной на трёх шагах. Не подходи ближе. Не подходи к стеле. Не подходи к ушебти.

— Понял, — сказал юноша. — Чётко.

*Чётко*.— это легло прямо: «принял к выполнению». Я отметил оборот. У них тут согласие выражали через короткое *чётко*— как у нас через короткое «принял».

Я дошёл до своего саркофага.

Я не стал на него ложиться — лежать в саркофаге двадцать шесть веков я уже умел, лежать ещё одну ночь поверх было бы излишней работой. Я сел на нижний камень — тот самый, на котором сидел до боя с молодым узурпатором, на котором сидел после боя, на котором сидел сейчас в третий раз. Камень нагрелся подо мной за это утро ровно настолько, насколько нагревается каменный приступ под человеком, побывавшим на нём трижды.

Я положил скипетр-секиру у правого колена. Жезл — у левого. Левая ладонь моя опустилась на колено. Правая — на грудь.

Я закрыл глаза на один удар сердца, не больше. И открыл снова.

Юноша Кирилл стоял в трёх шагах, как ему было сказано. Скрижаль у него висела на уровне груди.

В зале висела та особая тишина, какая бывает после ухода чужой ноги, когда сама ушедшая нога ещё не вышла из уха. Швы моего домена держали — у восточной двери, у потолочной щели, у северного угла по линии стекла; три тонких неровных стежка, оставленных мне на завтра.

Я провёл пальцами по знаку на груди.

Свиток открыл другую страницу.

-- Свиток : ритуал ушебти --

формула возврат малого ка  
(Дом Жизни Хемену, третья ступень)  
(Меритпах, лист сорок второй:  
«по нужде - не по случаю»)

-- расход --

ка пять долей на касание  
тридцать восемь долей на полную страж

-- условия --

- \* касание прямой ладонью каждого ушебти
- \* общая формула на десятом по счёту
- \* стекло - снять
- \* восьмой час : до восхода

-- плата --

слой Маат одна доля сжигается на тридцать

-- вес --

О формула старая, дорогая  
при жизни - не применялась  
Я держал руку на знаке.

Формула стояла в Свитке так, как стояла у меня в памяти, — без отличия в одном знаке, без отступа в одной мере. У нас в Доме Жизни Хемену её заучивали на третьей ступени и не применяли при жизни. У меня случай — после жизни. У меня нужда — не случай. Меритптах в листе сорок втором писал об этом сухо, как полагалось писать в трактате: «по нужде — не по случаю». Меритптах различал случай и нужду — нужда у него стояла выше.

Я отнял руку с груди.

Сводка осела.

Я посмотрел на свой саркофаг — пустой, открытый, тяжёлый, с моим именем на нижней табличке снаружи и с тем русским словом, которого я не знал утром и которое за это утро отметил как первое тяжёлое: *экспонат*.

Стела за моей спиной стояла молча. Пять знаков из сорока семи. Сорок два пояса ждали разлива.

В дальней витрине Хор-Ха спал под стеклом без формулы у изголовья. Тридцать восемь моих ушебти лицами кверху лежали через два пролёта от него — Анхуэровой лепки, гермопольской руки, с тем закругленным затылком, по которому мастера узнавал любой второй послушник Хемену.

Юноша Кирилл за моей спиной шептал в свою скрижаль медленно. Чисто и ровно. Скрижаль его светилась тонким красным отблеском сбоку, и в этом отблеске у него шёл счёт чужих смотрящих, и за это утро у юноши прибавилось многократно.

— Чуваки, — сказал он негромко в скрижаль. — Чуваки, тут у нас... вообще не знаю как сказать. Тут у нас сейчас будет вторая серия. Я просто, ну... остаюсь.

*Дитя.*

Голос моего господина пришёл коротко.

*Один — не выйдет.*

Я положил левую ладонь себе на грудь, поверх Свитка, и поверх Свитка — поверх руки. Тёплый круг папируса стоял под пеленой ровно. Восьмой час по восходе у них тут наступал не позже, чем у нас в Хемену.

До восьмого часа — стража.

До восхода — стража.

До утра.

Нужно.

## Глава 5

До восхода оставалось — по тому счёту, который я знал из всякого утра моей прежней жизни и который у меня в Доме Жизни Хемену клали под счёт восьмого часа — не больше трёх стражей. У них тут стражей по часовому делу не считали; у меня в груди счёт стоял старый, и я доверял ему, как доверяют изношенной мере, которую за долгие разливы уже не нужно проверять.

Я встал.

Не сразу. На правом колене у меня была та тяжесть, какая ложится на колено человека, простоявшего на нём дольше, чем следовало; левое колено отдало мне опору без обиды. Скипетр-секира лежал у нижнего камня саркофага и в стоянии моём не участвовал; я опёрся на Жезл Уас — на тот его конец, который у меня в храмовой комнате стоял посохом для ходьбы по двору, прежде чем мы с Несхонс уехали в Хемену в последний раз. Жезл принял мою ладонь так, как принимает рука сына руку отца, — не сразу, но крепко.

Кирилл за моей спиной шептал в скрижаль ровно. Я не оборачивался, но слышал — Глас отдавал мне его слова через череп без задержки, и в словах его стояли всё те же *чувакии вторая серия*, и одно новое слово — *закопались*. Оборот я положил отдельно: «закопаться» у них шло про человека, который остался работать на одном месте без оглядки на часы. Я был не против.

Я пошёл к витрине ушебти.

Витрина моя стояла у северной стены, в трёх пролётах от моего саркофага. Тридцать восемь штук — Анхуэровой работы, гермопольской лепки, каждый ростом в две ладони, без особых отметок на лбу и без особых отличий между собой; разве что у девятого по счёту на правом плече я различал волосную трещинку, в которую за двадцать шесть веков набилась мелкая пыль и которой Анхуэр сам бы не оставил. Это была не его трещина — это была чужая трещина, набитая где-то на пути моей гробницы из Хемену сюда. На неё я отметку отложил.

Стекло я сдвинул так же, как сдвигал стекло у себя — два пальца под нижнюю кромку, ровный нажим вбок, без щелчка. Стекло у них стояло на пазу. У меня к ним за это утро уже была одна общая привычка с домом моим: стекло сдвигалось.

— Ого, — сказал Кирилл сзади. — Чуваки... ну вы видите, да. Он реально... он открыл витрину.

Я не ответил. Свет от верхних лампад их зала падал ровно — белый, без пляски, без тени; у меня в Хемену таким светом стояла только полуденная луна на воде в большой чаше двора. Я провёл ладонью над первым ушебти, не касаясь, — мерил линию между плечом и затылком, прикидывал расстояние до общей точки. Анхуэр работал с тем особым углом, какой давал затылку лёгкое отклонение к спине; в общей формуле этот угол брался в счёт.

Я снял первого ушебти со стойки.

Гипс был холоден. Под пальцами — слой пыли, лёгкий, какой ложится на гипс за долгие годы, когда никто не берёт его в руки. Этого слоя я почти не различил кожей, но под Гласом он стоял отдельно: гипс мой, пыль чужая. Я поставил первого на пол у основания стелы.

Второго.

Третьего.

Четвёртого я ставил рядом с третьим — не за ним, а рядом, плечом к плечу, как у нас в Хемену ставили служителей у нижнего ряда обрядового круга. Меритптах в семнадцатой главе своего трактата требовал расстановки **малого круга** — четырёх ушебти у основания стелы, лицами к стеле, спинами в зал, на расстоянии одной ладони друг от друга и одной ладони от нижнего пояса стелы. На этом расстоянии формула касалась всех четырёх одной волной.

Четвертых.

Не тридцать восемь.

Я отложил это решение в счёт перед тем, как протянул руку к первому. Тридцать восемь касаний — это сто девяносто долей ка по расходу. У меня в Свитке стояла одна доля из ста. Меритпах был сух: «по нужде — не по случаю». Нужда у меня сегодня шла на четверых.

**Девятого с трещинкой** я оставил — его я не взял. Я взял первого, шестого, четырнадцатого и двадцатого — тех, у которых работа Анхуэра шла без отклонения, у которых линия плеча и затылка стояла так, как ставил её мастер сам, как не поправляли её чужие руки за двадцать шесть веков.

Это было по уму.

Я расставил их у основания стелы по часовой стороне — первого на восток, шестого на юг, четырнадцатого на запад, двадцатого на север. Малый круг. У меня в Доме Жизни такой круг ставили на третьей ступени — заучивали его сначала на учебных глиняных болванках, потом на дешёвых обрядовых, потом на настоящих ушебти, поднятых младшим жрецом старшей формулой. Я ни разу не поднимал круга при жизни. У меня шла случай и случай шёл против ритуала; у меня сегодня шла нужда.

Я сел между ними — у нижнего камня стелы, лицом к саркофагу, спиной к восходному коридору. Жезл Уас положил у правого колена. Левую ладонь опустил на колено. Правую — на грудь, над Свитком.

Я заглянул в Свиток.

-- свой счёт : перед ритуалом --

ка 1 / 100

слой Тота 5 / 10

слой Маат 1 / 5

-- татуировки --

Глас Тота активен

Свиток Тота связь устойчивая

-- артефакты --

Жезл Уас 0 / 1

Скарабей-сердце 2 / 3

-- ритуал --

расход 20 долей

плата Маат 1 / 30

Одна доля стояла у меня в счёте. Двадцать требовалось на расход. Девятнадцать недостающих долей лежали у меня в одном месте — на нити, которую я отметил у себя в груди ещё утром, при подъёме домена; на нити моего слоя Тота, которая шла от меня вверх и которая держала между мной и моим господином ту тонкую связь, по которой ка восстанавливалось, по которой Глас работал, по которой Свиток открывал страницы.

Утонышить её на половину.

Меритпах в листе сорок втором писал об этом обиняком — как пишут о вещах, не свершаемых по доброй воле, но иногда неизбежных: «нить слоя — не отсечение, но утонышение; не разрыв, но временное сужение; не жертва, но заём». Меритпах различал три вида расхода — слой, нить, доля. Слой сжигают разом, дорого, насовсем, как сжёг я слой Маат на подъёме

домена. Долю тратят малыми мерами, как тратил я её всё это утро. Нить утончают — болезненно, но возвратно.

Этот заём я и брал.

*Дитя.*

Голос моего господина пришёл коротко.

Принял.

*Один — не выйдет.*

Это господин уже говорил мне. Я не стал отвечать. Я взял правой ладонью у себя под пеленой пятый знак стелы — проявившийся у меня сегодня между лопаток в малом тёплом круге, от которого шла нить к моему господину. Под ладонью знак стоял как тонкая медная пластинка, нагретая до тепла руки. Я нажал.

Боль пошла не сразу.

Сначала прошёл холод. У меня в Хемену так начиналось медленное опускание в подземную воду, когда жрец нижнего ряда сходил в купель для омовения перед обрядом девятого часа: сначала холод, потом дыхание уходит ниже горла, потом тело начинает узнавать воду как чужое. Так и здесь — нить под моей ладонью узнала чужую руку и отозвалась холодом. Узнавание моё, ладонь моя; для нити — чужая работа.

Потом боль.

Она пошла полосой — той же, что от разрыва с Маат утром, но тоньше и ровнее. Не удар, а **вытяжка**: словно из меня кто-то тонкими щипцами тянул нить через малое отверстие между лопаток. У меня в Доме Жизни на третьей ступени болевые формулы учили на учебных шкурах животных; на собственной нити их применяли только старшие, и то на седьмом году ступени. У меня семи лет не было; у меня была нужда.

Боль шла восемь ударов.

Я не шевельнулся.

Тот молчал.

Это я принял особо. Господин мой молчал не запретительно — у меня в голове не стояло «не делай»; молчал не одобрительно — у меня в голове не стояло «делай»; молчал тем молчанием, какое стоит у старшего жреца над послушником, когда послушник берётся за обряд, к которому ещё не готов, но другого послушника у обряда нет. Я знал это молчание. Это было молчание Меритптаха, когда он отпустил меня на самостоятельное стяжение моего первого слоя на седьмом разливе моей пятой ступени. Меритптах тогда тоже молчал.

Нить утоньшилась.

Я отнял ладонь.

Знак на коже остыл одним ударом — медленно, неровно. Между лопатками стояла не рана — та пустота, какую оставляет на песке выбранный из песка камень: видно, что брали, но крови нет.

Я заглянул в Свиток.

-- свой счёт : после займа --

ка 20 / 100

слой Тота 5 / 10 : утоньшён

возврат темп ма-нес : замедлен

-- слой Маат --

фильтр 1 / 5

Двадцать долей стояло у меня в счёте — те самые двадцать, взятые с нити. Возврат шёл темпом **ма-нес** — тем самым, которым у нас в Доме Жизни Хемену учили различать дисци-

плинированное восстановление от жадного; **ма-нес** была медленной мерой, темпом, не торопившим жреца и не оставлявшим его без воды. У меня сегодня к этому темпу прибавился знак «замедлен» — заёмная нить отдавала медленнее обычной.

Двадцать долей.

На четверых.

Я положил правую ладонь на голову первого ушебти.

Гипс был холоден.

Я произнёс формулу про себя, через тот короткий поворот в груди, какой у нас в Доме Жизни учили на третьей ступени и какой назывался **внутренней речью обряда**. Формула возврата малого ка стояла у меня в памяти ровно: семь знаков, три повтора, один общий замок. Я положил её на гипс через ладонь — согревом, ровным и сухим, тем же, каким согревал я утром лён.

Знаки Гласа у меня на ладони засветились на один удар сердца. Не золотом — тонкой охрой, какая ложится на стекло керамики при первом обжиге. Свет ушёл в гипс, ушёл в шов между плечом и затылком, ушёл туда, где у Анхуэра проходила линия моделирования.

Ушебти не двинулся.

Я снял ладонь.

Я положил её на голову шестого.

Знаки засветились снова. Расход я положил в счёт — пять долей, как обещал Свиток. Шестой не двинулся.

Четырнадцатый.

То же.

— Слышь, — сказал Кирилл негромко, в трёх шагах за моей спиной. — Чуваки... он касается. Просто касается. Ничего не... ну, как будто заряжает. Не знаю.

Я не обернулся. Двадцатого я брал последним — но не по обычной формуле, а **по общей**, той, которую Меритптах ставил на десятом по счёту. У меня десятого по счёту не было. У меня было четверо. Общую я переставил на четвёртого — по нужде, не по случаю.

Я положил ладонь на голову двадцатого.

Я произнёс общую.

Семь знаков шли длинной волной. Три повтора шли в три сердечных доли. Один общий замок шёл на восьмой. Я держал ладонь не до конца — на седьмой у меня в груди дрогнула нить. Это было нормально для заёмной нити; это было ненормально для обряда. Я держал.

Замок встал.

Я снял ладонь.

И тогда ушебти открыли глаза.

У них не было глаз. У Анхуэра в работе шли два углубления над переносицей, без зрачка, без века, простая ямка под скруглённым лбом — так делали лепку поздней XXVI династии все мастера, не он один. В этих ямках сейчас стоял свет. Не охра моих знаков — другой, более тусклый, землянистый, тот, какой у нас в Хемену стоял в нижних подвалах храмов на обряде девятого часа. Свет четырёх пар ямок.

Они поднялись.

Первый — раньше других. Не на удар, а на половину удара; на коротком вертикальном движении, какое делает тело, помнящее, как стоять, но забывшее, **зачем**. За ним — шестой и четырнадцатый, разом, ровно, как и положено по формуле. Двадцатый поднялся последним — с задержкой в два удара, потому что общую я переставил на него, и общая шла длиннее.

Задержку я положил отдельно.

Порядок я принял.

Я не учёл **этого**:

Первый ушебти кивнул.

Не приветственно. Не церемонно. Тем коротким, наклоняющимся вперёд кивком, какой у нас в Хемену делал младший писец, услышав от старшего распоряжение, которое он принял, но к которому не имел вопросов. Кивок длился на один удар. Голова вернулась в исходное положение.

Меритптах в семнадцатой главе не писал о кивках. Ушебти не должны двигаться без приказа — они должны стоять, ждать слова, нести служение. Кивать — это **жест согласия**, а согласие требует выбора, а выбор требует ка отдельного от моего. У ушебти ка отдельного нет. Ушебти — продление моей руки, не другой человек.

Это был не Меритптах.

Это был я не знаю кто.

Я отложил отметку.

Не сейчас.

Я снял ладонь со лба двадцатого и опустил её на колено. У меня в счёте стояло двадцать долей минус двадцать. У меня в счёте стояло **меньше**, чем двадцать минус двадцать, — потому что общая формула съела по нити на пол-доли больше. У меня в счёте стояло на минусе.

Это я тоже отложил.

Тени.

У меня в Доме Жизни Хемену в храмах жили мелкие духи углов. Служителями их не звали; к нежити их обряд не относил. Просто остатки чужого присутствия, которые ходили по углам обрядового зала и которых обряд знал, как знал свечу или чашу. **Малые тени.** У нас их к обряду не звали; они шли сами. У жреца с малой связью с местом тени стояли у стен; у жреца с большой связью — выходили в круг.

Здесь места не было моего. Здесь был зал чужой работы, чужого века, чужого ремесла; но домен я уже наложил поверх. Тени, какие в этом зале были, теперь шли по моей пелене. Я знал это — Свиток отдал мне это знание молчаливо, как отдаёт ладонь хозяина бок дому: дом тих, но дом есть, и кто в доме — твой.

Формула вызова **малых теней** шла короткой. Пять знаков, один повтор. Стоила дёшево — на одну тень шло одна десятая доли. Я взял десять.

Я положил левую ладонь на пол.

Пол под ладонью был холоден — мрамор их зала шёл ровный, с тонкими сквозными линиями серого по белому. Через мрамор я отдал формулу — не голосом, через ладонь, тем сухим согревом, каким уже работал утром. Знаки на ладони засветились на удар.

Тени пошли из углов.

Их не было видно сразу. Их вообще не было видно так, как видно человека или ушебти. Их было видно так, как видно нагретый воздух над огнём в летний полдень: сгущение, движение без формы, тонкое искажение того, что стоит за ним. В северо-восточном углу первой пошёл тонкий длинный сгусток, ростом в человека, шириной в ладонь, — и осел у стены, на расстоянии локтя от витрины с сидонской фигуркой. За ним — второй, в северо-западном. За ним — три у потолка, по щели; их видно стало плохо, они слились с тенью балки. Ещё четыре — у восточной двери, у западной двери, у южного выхода в коридор.

Десять.

Они не двигались. Они стояли — каждая на своём месте, каждая ростом с человека, каждая невидима человеку, не знающему их искать. Кирилл за моей спиной их не видел; дыхание его шло короткое, неровное, на грани *я не понимаю*.

— Чуваки, — сказал Кирилл медленно. — Чуваки, мне кажется, или у нас тут... что-то ещё пришло. У меня по углам... ну как будто дрожит воздух. Вы видите?

Я не отвечал. У меня было ещё одно дело.

Я опёрся на Жезл и встал.

Колено отдало. Правое плечо отдало хуже — пузырь под пеленой натянулся, у меня по лопатке пошла та глухая тяжесть, какая идёт от глубокого ожога, когда подложки нет. Я выровнял дыхание — восемь вдохов, по счёту. Стела за моей спиной стояла молча; пятый знак её был тёплый, потому что я только что брал с него заём; шестой — холодный, потому что до него ещё не дошёл.

Я отступил от круга на три шага.

Я оглянулся.

Четыре ушебти стояли у нижнего пояса стелы, лицами к стеле, спинами в зал. Малый круг. У первого голова была повернута на пол-удара — не к стеле, как полагалось по формуле, а вбок, в сторону Кирилла. Поворот я занёс отдельно. Поворот стоял.

Десять теней стояли по углам.

Я сел на нижний камень саркофага.

Я опустил Жезл рядом. Левую ладонь — на колено. Правую — на грудь.

Я заглянул в Свиток.

-- Свиток : сводка домена --

ка ниже доли : возврат темп ма-нес  
слой Тота 5 / 10 : утоньшён : возврат замедлен  
слой Маат 1 / 5

-- татуировки --

Глас Тота активен : работает на дыхании

Свиток Тота связь устойчивая

-- артефакты --

Жезл Уас 0 / 1

Скарабей-сердце 2 / 3

-- стела --

проявлено пять знаков из сорока семи  
связь устойчивая : разлив 1 / 10

-- домен --

О радиус этот зал : восход коридора

сорок восемь шагов

-- стража --

ушебти 4 / 4 : подъём свежий

тени 10 / 10 : хрупкие

-- вера --

(пусто)

Строка стражи у Свитка теперь была не пустой. Она шла на двух иероглифах — глаза ушебти у первой строки, малый анх теней у второй; и за иероглифами стояли числа, и числа были маленькие, но не нулевые. Это я принял с тем сжатым движением внутри груди, какое у меня в Хемену бывало при выходе из обрядового зала после первого самостоятельного обряда: тем сухим *стоит* старшего жреца, какое слышал я однажды от Меритптаха и о котором с тех пор знал, что оно дороже всякой похвалы.

*Стоит.*

Голос моего господина пришёл — короткое слово на один удар, ровный и сухой, тот же, каким я когда-то слышал Меритптаха.

Я не ответил.

Господин мой не давал похвалы и не давал упрёка; господин мой давал **подтверждение**. У меня в Хемену подтверждение Меритптаха ценилось выше похвалы любого другого старшего; у меня сегодня подтверждение Тота ценилось выше всякой похвалы, какую мог дать мне этот мир за это утро.

Свиток закрыл страницу.

Тёплый круг папируса осел под моей ладонью медленно. Я снял правую ладонь с груди и положил её на колено, рядом с левой.

Кирилл сидел на корточках у разбитого кувшина. Скрижаль он поставил на штатив — на тонкую складную ножку, какую я уже видел утром у одного из узурпаторов, лежавших у западной стены. Скрижаль стояла прямо, направленная на меня, на круг ушебти, на стелу.

Он смотрел не в меня. Он смотрел в свою скрижаль — в тот тонкий красный отблеск сбоку, по которому у него шёл счёт чужих смотрящих. По красному отблеску счёт за это утро у Кирилла прибавился — Глас отдал мне короткое слово в его дыхании, *миллион*. Это слово я уже знал из утра. Это слово стояло у них тут на счёте людей.

— Чуваки, — сказал Кирилл тихо. — Ну вот... я остаюсь.

Он сказал это не мне.

Он сказал это в скрижаль — в ту толпу чужих, какие смотрели в его стекло и которым нужно было услышать его выбор. Я принял. У него тут был свой обряд — обряд писца перед своими смотрящими, обряд сжатого слова на сердечную долю, обряд **остаться**. Слово стояло у него как у меня стоит формула.

Я закрыл глаза на один удар сердца.

Зал стоял.

Стела за моей спиной — пять знаков из сорока семи, тёплая по пятому, холодная по шестому, ровная по нижнему ряду. Жезл Уас у правого колена. Скипетр-секира — у нижнего камня. Малый круг ушебти у стелы. Десять малых теней по углам и щелям. Швы домена — три, узкие, у восточной двери, у потолочной щели, у северного угла.

Я был не один.

Я принял это, и отметка стоила мне отдельного движения внутри груди — того, какое у меня не вставало с того часа в моей храмовой комнате, когда Несхонс умывала Мерит-Тот тёплой водой из глиняной чаши и звала меня к столу. Двадцать шесть веков отдельной отметки на это не было.

Сегодня была.

Я открыл глаза.

Первый ушебти стоял лицом к стеле, как ему было положено. Голова — ровно. Поворота на Кирилла не было.

Я смотрел на него долго.

Потом — снова коротко, на половину удара, на полудыхании — он наклонил голову вбок.

И вернул её в исходное.

## Глава 6

Восход в этом зале шёл не так, как в храмовом дворе у меня в Хемену. Здесь солнце шло за стенами какого-то другого дома над их домом; до моего пола его прямой свет не доходил. К восходу нарастал свой свет — белый, медленный, разгоревшийся в верхних лампадах постепенно, тем мягким приращением, какое шло у фитильника в храме, когда служитель прибавлял ему пеньки.

Я открыл глаза на восьмой сердечной доле.

Ка моё стояло ниже доли — Свиток сказал мне это ещё прошлой ночью. За ночь нить заёмная отдала мне не больше восьми долей из двадцати; возврат шёл темпом **ма-нес**, и таким утром жрец не открывает новой нити, а держит то, что уже стоит. Тело держало само себя на той дисциплине, какую под счёт пятой ступени клали в Доме Жизни: дыхание ровное, плечи не поднимаются, рука на колене не дрожит.

Скипетр-секира лежал у моих ног. Жезл Уас — у правого колена. Правая ладонь легла на нижний камень саркофага в два движения. Ожог под пеленой на правом плече за ночь ушёл в ту глухую тяжесть, какая идёт от поджившего пузыря, когда подложка стянулась, а новая кожа ещё не легла.

Малый круг стоял у нижнего пояса стелы — первый, шестой, четырнадцатый, двадцатый. Лицами к стеле, спинами в зал. У первого голова была ровно. Я смотрел на него долго, на двенадцать сердечных долей, и за этот счёт он не качнул её ни в одну сторону. Кивок прошлой ночи я отложил отметкой; отметка стояла у меня в груди сухим знаком, который я не понимал и не торопился разрешать. *Не сейчас.*

Тени по углам за ночь утончились. Сгустки у северной стены было ростом в человека — стало в плечо; шириной в ладонь — стало в палец. Те, что у потолочной щели, я различал плохо: они слились с тенью балки, экономя движение. Хрупкие, сказал Свиток ночью. Сегодня — ещё хрупче.

Кирилл сидел в северо-западном углу — на корточках у разбитого кувшина, со скрижалю на складной ножке. Глаза красные. Он шептал негромко. Я расслышал: *миллион, двести, грант, идут.* Последнее слово я положил отдельно.

— ...обещают, ну, типа, грант, — шептал Кирилл. — Не лимон. Лимон — это вряд ли, чуваки. Но штук триста точно. Только тогда мне самому надо... ну, держать формат. Идут уже. С шести утра. К воротам.

Воротами в этом зале шла та восточная дверь, через которую вошли вчера ночью узурпаторы, и западная — через которую вошёл Воротынский-сын со своим Перуном. *Идут к воротам* шло про людей, которые двигались к моей восточной двери по своей воле. Сколько — Кирилл не сказал.

Я опёрся на Жезл и встал — не на правое колено, на левое. Правое колено я сегодня держал для шага, не для стояния. Рёбра дёрнулись на втором вдохе.

Я положил правую ладонь на грудь, над Свитком.

-- Свиток : сводка восхода --

ка 9 / 100 : возврат темп ма-нес

слой Тота 5 / 10 : утоньшён : возврат замедлен

слой Маат 1 / 5

-- татуировки --

Глас Тота активен : работает на дыхании

Свиток Тота связь устойчивая

-- артефакты --

Жезл Уас 1 / 1

Скарабей-сердце 2 / 3

-- стела --

проявлено пять знаков из сорока семи  
связь устойчивая : разлив 1 / 10

-- домен --

О радиус этот зал : восход коридора  
сорок восемь шагов

о швы три : восточная дверь : потолочная щель : северный угол

-- стража --

ушебти 4 / 4 : подъём свежий  
тени 10 / 10 : хрупкие

-- вера --

(пусто)

Жезл за ночь восстановил единственный свой слот — первая строка сводки, на которой стояло возвратное движение, не убыль. Жезл моего отца отдыхал восемь часов и вернул себе давление. Других на восход у меня не было.

Свиток открыл новую страницу — без моего вопроса, тем сжатым разворотом, каким старший жрец отдаёт молодому лист, на котором тот должен прочесть сам. Три иероглифа в верхнем поясе: ма, ат, и третий — раскрытый знак справедливости, который у меня в Хемену клали на стену обрядового зала первой ступени, как первый знак для послушника. Под иероглифами шла строка:

закон оспаривания

« земля, поднятая на пепле Маат,  
обязана отворить путь оспаривающим:  
ибо Маат - не запор, но мера,  
и мера держит дом тем, что не закрывает дверей перед вызовом.  
Сетекен, лист девятый: «земля без оспаривания мертва;  
земля с оспариванием - жива». »  
Я перечитал страницу.

Меритпах называл это **внешним правом Маат** — то, что в Доме Жизни Хемену я учил на четвёртой ступени, тогда ещё не понимая, на чём оно стояло. Маат — не стена, Маат — мера. Дом, в котором живёт мера, не закрывает дверей перед тем, кто пришёл оспорить хозяина. У меня под основанием домена лежал пепел сожжённого слоя Маат; дом мой не мог закрыть дверь.

Я обернулся.

Восточная дверь стояла во второй трети зала, между двумя колоннами, и через неё, через её щель шириной в полтора пальца, через шов моего домена, который я с ночи не закрывал, на меня пошло сквозящее ощущение чужих как по ту сторону пелены. Счёт лёг сам: пять. Шесть. Один из них — на отдалении, у самого края радиуса; пятеро — ближе, в трёх шагах от двери. Двигались тихо. Дыхание у одного билось чаще остальных, у другого — реже; у третьего — ровно, как у того, кто пришёл работать. Я отметил *работать*.

Это не были государственные. Глас давал мне их как слабым очертанием, без той плотной оболочки, какая шла у узурпаторов прошлой ночью, у носителей государственной печати; их как шло голым, с одним только маленьким частным узором по нити у того, что стоял впереди, — узором мастера, купленным за плату. Частные. Оспаривающие.

Маат — мера. Дом — мой. Дверь — открыта.

— Кирилл, — сказал я негромко.

Он дёрнулся. Резкое *блять* легло через череп, и спина его рывком выпрямилась. Он повернул голову — движение я принял, не оборачиваясь.

— Командир? — Кирилл сказал это тем осторожным голосом, какой шёл у писцов нижнего ряда, когда старший впервые называл их по имени.

— У восточной двери стоят пятеро, — сказал я. — Шестой — у дальнего края.

Молчание держалось у Кирилла на две сердечные доли.

— Бля, — сказал Кирилл. — Чуваки, у нас тут... к нам тут идут. Я не вижу. Командир говорит — пятеро. Шестой где-то. Это не Воротынский, нет?

— Нет.

— Тогда кто?

— Частные, — сказал я.

Слово это у меня в словаре сегодня уже стояло — я взял его из ночного шёпота Кирилла, из *частной инициативы*. Оно говорило о людях, которые делали что-то своей рукой, без распоряжения сверху.

— Ну ёб, — сказал Кирилл. — Командир, это, ну... это охотники, что ли? Это, типа, авантюристы?

Свиток отдал мне их смысл через ладонь без задержки: *охотники* — те, кто живут с того, что берут у других силой; *авантюристы* — те же, но с украшением. У них шли эти слова вместе. У меня — в одно: оспаривающие.

— Они зайдут, — сказал я.

— Не закроем?

— Не закроем.

Кирилл подержал молчание — четыре доли.

— Чуваки, — сказал он в скрижаль. — Командир говорит — дверь не закрываем. Они зайдут. Я снимаю. Я не отойду.

*Не отойду* положил отдельно.

Я провёл пальцами по запястью — по тому малому знаку, который шёл от косточки к жиле и который у меня сегодня отзывался на касание малой теплотой. Свиток открыл сводку стражи.

-- Свиток : сводка стражи --

ушебти 4 / 4 : подъём свежий

(Меритпах, лист 17: малый круг)

тени 10 / 10 : хрупкие

(тонкие : одна потеря - допустима;

две - круг истончается)

-- схема --

О первая линия тени : восточная щель  
О вторая линия ушебти : малый круг у стелы  
О третья линия Ирд : нижний камень саркофага

-- расход на бой --

ушебти один восемь долей за бой  
тень одна одна десятая доли за бой  
Жезл Уас один заряд на одно сламывание воли

Свиток складывал мне раскладку без моей просьбы — как старший жрец на пороге обрядового зала складывает молодому раскладку первого его выхода. Тени — впереди. Ушебти — за теньями. Я — за ушебти. Очередность шла не моя; очередность была Свитка. Утро было поперёк, и у меня сегодня к этому ставлению вставало уважение особого рода — потому что Свиток сам впервые предлагал мне стать у нижнего камня саркофага, а не выходить вперёд.

Я сел на нижний камень. Жезл Уас положил у правого колена. Скипетр-секиру — у левой ладони. Левую — на колено, правую — на грудь.

Я ждал.

Они пошли через семь сердечных долей.

Их движение пошло малым смещением: пятеро у двери качнулись разом, как качается ряд тростника при ровном ветре, и шагнули. Их ка пошли через шов восточной двери в мой домен — и шов **разошёлся**. Не нажалом снаружи, не пробитием; шов разошёлся сам, тем ровным разведением краёв, какое идёт у тёплого воска, когда в него входит лезвие. Золотая нить пелены на двери опустилась. Я принял: нить легла.

Маат — мера.

— ... а я говорю, по-тихому, — донеслось из коридора. Глас отдал мне голос без задержки — низкий, со срывом на гортани, сорока с лишним лет, как у обозников, которые сорок разливов на дороге.

— По-тихому уже не выйдет, у тебя стрим у двери стоит, — второй голос, моложе, повыше, с тем срывом, какой идёт у людей, не до конца проспавшихся. — Сразу скажет.

— Скажет — пусть скажет. Нам два часа. Заберём амулет, артефакт его, и на смену.

— Жрец один?

— Один и куклы. Четыре. По стриму видно.

— Куклы у нас не бой.

— Не бой.

Принял.

Через скрижаль Кирилла за это утро им стало видно всё, что у меня в зале стояло. Кирилл за ночь стал окном, через которое смотрел всякий смотрящий. Иногда жрец оставляет окно, чтобы видеть тех, кто смотрит в окно. Окно работало на меня.

Они вошли в зал.

Пятеро. Лёгкие — такой лёгкостью шли у нас поденщики на пристани. Серая ткань на плечах, серая на ногах, мягкая обувь без подбойки. У троих в руках — ножи, какие делали для одного движения через горло. У четвёртого — малая палка с лезвием на конце, какую я уже видел утром у одного из узурпаторов; стволы в зале были мертвы, и они знали это. У пятого — пустые руки и под серой тканью на шее маленький камень на шнуре. Частный амулет: узор слабый, плата малая, защита от первого давления воли.

Они увидели ушебти.

— Сук, — сказал тот, что шёл первым, негромко. — Стоят, как у меня в кладовке. Спокойно. Бей.

Они пошли клином — двое впереди, двое за ними, пятый позади, тот, что с амулетом. *В первый раз* положил отдельно: это стояло у них в плечах, не в ногах. Ноги шли уверенно, плечи — нет.

Тени тронулись.

Первой пошла та, что стояла у северо-восточного угла, — длинная, ростом в плечо человека, шириной в палец. Она сошла со стены без шага, скользнув по полу полосой более тёмного воздуха, и легла поперёк дороги двух передних. Двое передних её не видели. Они прошли через тень и в тени сбились с темпа на половину доли — тем резким сбоем, какой идёт у человека, прошедшего через сквозняк, которого он не ждал. Полудоля — малость; в бою это вся стоимость движения. Первый ушибти сделал шаг.

Гипс шевельнулся не как гипс — как сухой кожаный мех, наполненный воздухом изнутри. Левая рука поднялась. Правая пошла вперёд, к шее переднего из клина, прямым движением, какое у Анхуэра шло в работу плеча: гипсовая ладонь сомкнулась на горле без захвата за костяшки, простым плоским давлением.

Передний издал гортанный сухой *х-к*, какой идёт у человека, у которого горло смыкается раньше, чем он подбирает слово. Гипсовая ладонь стояла. Нож в руке переднего ткнул в плечо ушибти, как поденщик на пристани тычет шилом мешок. Нож вошёл в гипс на ширину пальца. Гипс **треснул**: по плечу первого от ключицы к лопатке пошла узкая трещина. Ладонь стояла. Передний опустил нож, потом колено, потом голову. Последний вдох шёл на четверть.

Я считал не смерть — **расход**. Пять долей у первого ушибти за бой, как и обещал Свиток; одну восьмую сверх — за треснутое плечо, потому что трещину гипс будет нести и дальше, и при следующем давлении она пойдёт глубже. Эту восьмую я положил отдельно в счёт.

Второй из клина пошёл на шестого. Шестой ушибти повернулся на одном движении — сухим кожаным мехом, наполненным воздухом, на половину доли. За эту половину второй успел поднять нож, но не успел опустить: в его правую лопатку сзади легла длинная тень, та, что сошла первой со стены. Тень не давила. Тень не била. Тень **стояла** — плоской полосой холодного воздуха поперёк лопатки, и второй дрогнул так, как дрогнул бы у меня в Хемену поденщик, на лопатку которого положили мокрую тряпку из подземной воды. Дрожь шла одно дыхание. За одно дыхание шестой сделал шаг и положил гипсовую ладонь второму на висок — тем же плоским давлением.

Висок сдал.

— Сук, — сказал тот, что шёл третьим, и пошёл в сторону. — Сук, сук, сук. Они не...

Он не закончил. Слова у него шли вразброс, как у человека, у которого внутри только что встало то, чего внутри не вставало никогда. Он пошёл вбок, к колонне, и за колонной с потолка осела одна из теней, что сидели в тени балки. Тень сошла на плечо. Третий обернулся — на пустой колонне его плечо ничего не нашло, и на пустом плече дыхание сбилось на долю. За эту долю четырнадцатый ушибти прошёл четыре шага от стелы к колонне и встал у третьего за спиной.

Я не смотрел в этот угол.

Я смотрел на пятого.

Пятый — тот, что был с амулетом, — шёл боком, по дуге, обходя круг ушибти с южной стороны. В правой руке он держал не нож и не палку, а малый предмет размером с куриное яйцо, тёмный, с узкой бороздкой по среднему поясу; через бороздку шла мелкая пыль. Свиток отдал мне знание через ладонь без задержки: **разрыв пелены малый**. У них тут это шло у тех, кто работал на чужом домене и умел рвать чужую пелену малой работой.

Он шёл ко мне. Не смотрел на ушибти, не смотрел на тени — смотрел на меня через мою пелену, через ушибти у стелы, через десять шагов холодного пола между нами. У первого

из клина в глазах стояла привычка. У этого стояла **работа**— та сухая внимательная работа, какую у меня в Хемену делали жрецы нижнего ряда на ритуале девятого часа: без интереса, без страха, на памяти рук.

Это был мастер.

Правая ладонь сошла с груди на Жезл Уас. Жезл лёг под ладонь тёплый — не от моей руки, от своего одного восстановленного слота. О Жезле моего отца у нас писали кратко: бьёт не телом, бьёт волей. Воля у мастера у двери стояла плотной — Глас давал её ровной нитью без расщепления, как у человека, который пришёл и знает, зачем пришёл. Эту нить я и брал.

Я поднял Жезл — не на размах, одним движением, от пола до правого колена, и наклонил верхний конец в сторону мастера. У меня в Хемену Жезл моего отца шёл не оружием, а **указанием**: тот, на кого он указывал, отдавал что-то от себя — волю, имя, направление.

Я выдохнул раз.

Жезл взял.

Мастер остановился на восьмом шаге от меня — не на размах ушебти, не на тень; на том неловком движении, какое идёт у человека, у которого изнутри только что вышла одна нить. Он не упал. Он сел — на правое колено, потом на левое, потом на левый бок, тем плавным сложением, какое идёт у служителя обрядового зала, у которого старший вынул из счёта дневное служение. Малый предмет у него в правой руке выпал. Бороздка по среднему поясу разошлась на пол; пыль легла на мрамор серой полосой и дальше не пошла.

Глаза у него были открыты. Дыхание — ровное. Воли — не было.

Жезл в моей ладони остыл разом. Один из одного. К восходу Жезл был пуст. Я опустил его на пол у правого колена.

Четвёртый — тот, что с малой палкой с лезвием, — пошёл прямо. Четвёртый шаг, пятый, шестой; тень с потолочной щели легла поперёк его пути, он прошёл её без замедления, потому что воли в плечах у него стояло больше, чем у первого. Жезл пуст. В счёте девять долей — меньше, чем нужно для второго давления воли.

Скипетр-секира лежал у моей левой ладони. Я взял его за древко у нижнего края — тем тесным хватом, какой идёт в обрядовом зале, когда замаха нет, а удар нужен. Четвёртый шагнул седьмой шаг; лезвие палки уже шло к моему правому плечу той дугой, какой бьют по гордому быку на жертвоприношении. Уклониться у меня не было запаса.

Скипетр пошёл наискось. Не лезвием — плашмя. Ровный удар в правый висок, на ширину ладони от линии бровей до уха, без поворота лезвия. Четвёртый встал. Палка выпала. Колени ушли в одну сторону, голова — в другую. Он лёг на правый бок. Дыхание — ровное, замедленное. Живой.

Принял.

Жезл — пуст. Скипетр — у руки. Девять долей в счёте. Тени — десять, слабые. Ушебти — три у стелы, плюс четырнадцатый у колонны.

У колонны было тихо. Третий из клина лежал у основания на левом боку. Четырнадцатый ушебти стоял над ним; гипсовая ладонь опущена, у третьего на затылке тёмная полоса на ширину пальца. Дыхания не было. Двадцатый стоял в малом круге, ровно — за весь бой ни одного движения; общая формула держала его молчаливее остальных.

Бой кончился. Трое мертвы — первый, второй, третий. Двое живы — четвёртый у моих ног, пятый у двери. Шестого, который шёл по краю радиуса, в зале не было: его движение я различил через шов потолочной щели — он уходил. Шестой видел через окно Кирилла, что вошедшие не вернутся, и ушёл.

Четвёртый лежал у моих ног на правом боку. Висок начинал темнеть синим кругом — такой круг шёл у тех, кто получил удар плашмя и завтра проснётся с тяжёлой головой, но проснётся. Пятый сидел у колонны на левом боку, ладони на коленях, без воли. Глаза открыты,

не моргал. Двое живых. Допрос — потом; восьми дней, какие старший жрец у нас держал чужих служителей перед словом, у меня сегодня не было.

Я провёл пальцами по запястью.

Тронулись две тени у южного выхода в коридор. Та, что стояла у северо-восточного угла, истончившаяся за ночь, не пошла: формы у неё оставалось на одно движение, я её берёг. Две сошли со стен, легли поперёк зала полосами холодного воздуха и окутали четвёртого и пятого двумя сухими кольцами — у четвёртого по груди и тазу, у пятого по груди и рукам. Воля до восьмого часа следующего утра в плечах не вставала.

Я положил правую ладонь на грудь, над Свитком.

-- Свиток : сводка после оспаривания --

ка 8.8 / 100 : возврат темп ма-нес

слой Тота 5 / 10 : утоньшён

слой Маат 1 / 5

-- стража --

ушебти 4 / 4 : первый с трещиной по правой ключице

тени 9 / 10 : одна истончилась до края : две в работе

-- артефакты --

Жезл Уас 0 / 1

скипетр в руке

-- приращение --

ка убитых трое : переток в стелу

(Сетекен, лист девятый:

«земля, отстоявшая себя,

принимает ка отстоявших на себя»)

стела +три знака : 8 из 47 проявлено

о шов восточный закрылся : монолит

О радиус +24 шага : 72 шага

-- пленные --

# два : в кольце теней : до восьмого часа завтрашнего

-- вера --

доля приходит тонкая : через окно писца

первый невнятный счёт

Я перечитал страницу.

Было пять знаков, стало восемь. В груди у правой ключицы пошёл тот сухой тёплый сдвиг между лопаток, какой идёт у жреца, когда стела открывает новый ряд. Шестой знак — холодный с ночи — теперь стоял тёплым. Седьмой и восьмой — впервые. Имён я по ним не разобрал: стела открывает знак, а имя ему ставит время. Я отложил отметку.

Шов восточный сжался. Восточная дверь стала пеленой. Радиус шёл на семьдесят два шага: сорок восемь — мой первый домен, ещё двадцать четыре — переток ка трёх оспаривающих. Сетекен в листе девятом был сух: **земля, отстоявшая себя, принимает ка отстоявших на себя.** Не «убитых на ней», а отстоявших на себя. Мера. Кто пришёл оспорить и проиграл — отдал землю своему ка.

*Маат.*

Голос моего господина пришёл одним словом, ровным и сухим. Тот не давал похвалы — Тот давал подтверждение. За двадцать шесть веков это был первый раз, когда подтверждение шло через утро.

Я опустил ладонь на Свиток.

Кирилл сидел у колонны, опустив локти на колени, и шептал в скрижаль быстро, без остановок, без обычных *чувакови типа: домен вырос, жёлтый круг на карте, двести тысяч, идут ещё, чуваки, идут, не отойду.*

В груди шло то тяжёлое тёплое стояние, какое у меня в Хемену шло у старшего жреца на закате после обряда седьмого часа: тяжесть в плечах, тепло в груди, ровная нить от груди к стене обрядового зала, по которой жрец знал — **дом дышит.** В дом шли дыхание ушебти, дыхание теней, дыхание двух пленных в кольце, дыхание Кирилла у колонны и шёпот его в скрижаль.

Двадцать шесть веков ка моё ходило по нити Тота в темноту, в которой кроме меня не стояло никого. Сегодня нить пошла в другое — в круг ушебти, в кольцо теней, в пелену домена, в окно скрижали. Тяжесть от этого шла иная — та, какую я знал ещё до саркофага, тяжесть **дома с людьми**, та, какая у меня в храмовой комнате стояла на седьмом часу утра, когда Несхонс умывала Мерит-Тот тёплой водой, а Петосирус у нижнего стола писал тростинкой свои первые знаки.

Я не плакал. Тяжесть я держал, как держал в Хемену тяжёлый кувшин с молоком, прежде чем поставить его на нижний стол. Кувшин стоял в руках.

Кирилл шептал в скрижаль.

— Чуваки, — сказал он, и голос у него шёл негромкий, ровный, без обычной пляски. — Чуваки. Я уже не отойду. Это моё место.

**Моё.**

У писца моего внутри пошло то, что я в первый раз с того часа, как поднял его у разбитого кувшина, через Глас узнать не успел. Слово стояло у него в скрижаль; в скрижали оно шло к двум сотням тысяч смотрящих чужих и расходилось на двести тысяч малых счётов. В зале стояло одно. **Моё.**

Я не разрешил это в счёт.

Стела за моей спиной дышала ярче. Я слушал её дыхание Гласом — ровное, тёплое, восемью знаками, долго, на двадцать сердечных долей.

Я был хозяин дома.

## Глава 7

Зал после боя стоял той тяжёлой ровностью, какая ложится на обрядовый круг, когда жрец нижнего ряда вынес последнюю чашу и закрыл за собой малую дверь — звуки ушли, а пыль, поднятая работой, ещё не легла. В верхнем ярусе ламп шёл слабый нагрев нити, какой я слышал у фитильника на восьмом часу утра в Хемену, когда служитель прибавлял ему пеньки. Я держал ладонь на нижнем камне саркофага. Дыхание шло ровно — четыре вдоха, четыре выдоха, и на четвёртом я отметил, что плечи у меня держатся сами, без подпорки.

Тело первого из клина лежало у северо-восточной колонны на левом боку, левая рука согнута под щекой, как у человека, заснувшего на дороге без подушки. Дыхания не было третий час. Тень, та самая длинная, что сошла первой со стены, за бой стянулась к телу и легла на мрамор серой полосой — не широкой, не плотной, той же, что и до боя; я не сразу различил, что серый круг под левым плечом первого — это уже не его очертание, а её. Тень за ночь истончилась, но за работу прибавила в плотности на четверть. Это шло в её счёт.

Я встал — на левое колено, потом на правое, без опоры. Жезл Уас лежал у правого колена. Я не взял его сразу.

Сначала я обошёл зал.

Первого ушебти я нашёл у малого круга на западной стороне — стоял ровно, лицом к стеле, спиной в зал, как полагалось ему стоять с подъёма. Трещина по правой ключице к лопатке шла теперь чуть глубже — на ширину волоса прибавилось. Под пальцами гипс отзывался той сухой пустотой, какая стоит у поношенной обрядовой болванки на третьей ступени: сухо, отзывчиво, но уже не цельно. Анхуэр на такой бы не положил второй формулы. У меня нижнего ряда работ не было.

Шестой держался хорошо — гипс под ладонью сухой, ровный, без отзыва. Четырнадцатый стоял у северной точки малого круга, без отметины. Двадцатый — у восточной; этот вообще не входил в бой, общая формула держала его ровно, как держит на нижней лавке младшего служителя, которого старший просит молчать до второго часа.

Пленные сидели в кольце теней у южной стены.

Четвёртый из клина, тот, кого я приложил скипетром плашмя в правый висок, сидел с ногами в кольце, кольцо шло по груди и тазу. Висок темнел синим кругом, без расползания; завтра у него под этим кругом проснётся тяжёлая голова. Глаза открыты, моргал он раз в пять-шесть вдохов; воля у него стояла под кольцом, под ней — привычка солдата к чужой команде, и под ней — частный страх. Я этого страха не разворачивал. Свиток отдаст мне его в час, когда дойдёт дело до слова.

Пятый — мастер с разорванным малым предметом и пустой волей — сидел на левом боку у колонны, ладони на коленях. Дыхание шло двенадцать раз в малую сторону, ровнее обычного. Воля до восьмого часа завтрашнего утра у него не вставала; кольцо по груди и рукам было больше для меры, чем для нужды.

Я не заговорил ни с одним из них.

Кирилл сидел у разбитого кувшина на корточках, скрижалю на складной ножке у правого колена. С первого утра он не сходил с этого места. Лента в скрижали шла белым по красному; я различил три повторявшихся слова: *домен, идут, жесть*. Последнее у них тут шло про работу, какую человек не ожидал; я взял его в счёт. Глаза у Кирилла были красные, плечи держались. Старший писец на седьмом часу обряда стоял у меня в Хемену с такими же плечами.

Я сел на нижний камень саркофага.

Жезл Уас лежал у правого колена — холодный, пустой. Один заряд я разменял на мастера у двери; больше у него на восход не было. К утру следующего дня Жезл сам бы дотянул себе

второй слот — Жезл моего отца отдыхал восемь часов и брал свой удар. До восьмого часа завтрашнего у меня этих восьми часов могло не быть.

Я положил правую ладонь на грудь, над Свитком.

Заём шёл через ту нить, какая у меня от Свитка спускалась к запястью. Я подвёл её к Жезлу отметкой — жрец не приказывает Свитку, жрец отмечает место, где у него лежит нужда. В Доме Жизни такой ход называли малым возвратом по нити: аккуратный перевод доли с одного места хранения на другое, без разворота нового слоя.

Я выдохнул раз. Жезл под ладонью отдался тёплой полосой по среднему поясу — не до конца, на одну четверть. Я выдохнул второй раз. Полоса стянулась к верхнему поясу. Третий выдох — Жезл стал ровным, тёплым, как ремесленный нож, который мастер только что вытер о ладонь. Один заряд лёг на верхний пояс.

Половина доли ка ушла на перевод; Жезл моего отца давно знал моё запястье, и за это знакомство я заплатил по малому счёту, не по толстому. Меритптах в листе сорок втором писал об этом ходе одной строкой: «по нужде — не по случаю». Я и шёл по нужде.

Через шов потолочной щели на меня сошло то ровное холодное напряжение, какое идёт с улицы у них тут от ветра в открытом окне.

\* \* \*

Я положил правую ладонь на грудь — не для счёта, для **карты**.

У нас в Доме Жизни на четвёртой ступени старший писец однажды показал мне свиток своего отца — развёрнутый на всю длину обрядового стола, с красными нитями плана храма Тота в Хемену: нижние пояса колонн, верхние палаты, тайник у северной стены, проходы за нижним рядом обрядового зала. План тот я смотрел четверть часа и помнил все двадцать шесть веков. Свиток показал мне мой дом сам — без моей просьбы, той же короткой страницей, какой утром положил мне раскладку стражи.

Свиток открылся **планом**.

-- Свиток : план дома --

о - швы пелены - ушебти

X - закрытый шов - тень

# - пленные - стела

С Е В Е Р

|

о - - - - -

| северный угол |

| стекло |

|| +-----X-----+

- - - - - || потолочная |

||| щель |

| стела | +-----+

|||

| малый круг |

|||

| Ирд |

|||

||

# # |

|

|

-----X восток  
| главная дверь  
| закрыта : монолит

(Меритптах, лист 24: «дом, который не готовится к гостю, гость берёт»)

В Доме Жизни Хемену катакомбы старших жрецов держались на тройном слое защиты: первый — у входа, тот, что задерживает; второй — в проходе, тот, что замедляет; третий — у внутренней палаты, тот, что ломает. Сетекен в своём списке называл это **тремя сетями на одну рыбу**: кто прорвал первую — попадает во вторую; кто прорвал вторую — попадает в третью. Из третьей не выходят. Я этой строкой жил при жизни как послушник, перечитывая её перед сном; ни разу не строил. У нас в Хемену у молодых жрецов не было домов; у нас в Хемену были обрядовые залы, поделённые старшими.

У меня сегодня был дом.

Три точки стояли отдельно. Восточная дверь — шов закрыт, монолит после переноса трёх ка, но закрыт по силе, не по обычаю: тот, кто пришёл оспорить, всё равно войдёт через неё, потому что Маат — мера, и дверь у дома, держащего меру, не закрывается перед оспаривающим. Потолочная щель — узкий шов, через который входит только малое или бестелесное; шестой из ночных оспаривающих уходил через неё, и завтра кто-то меньше четвёртого войдёт. Северный угол — линия большого стекла витрин; самая слабая часть пелены домена шла именно по стеклу.

Три точки. Три формулы.

Первая — **зыбкая яма**. У нас её звали *расщеплением плоти у камня*: верхний слой мрамора остаётся целым, нижний на полтора пальца уходит в малую пустоту, шаг проваливает ногу на ладонь. Не убивает. **Связывает**. Пять долей.

Вторая — **жар стеной**. Та же формула сухого жжения, что у меня утром на льне у запястья, развёрнутая в полосу: жар без пламени на четыре пальца над лицом росписи, ровной линией на уровне глаз. Не сжигает в один шаг. **Замедляет**. Восемь долей.

Третья — **колодец теней**. Формула концентрации, какую у нас в Хемену клали на нижний пояс обрядового зала, где старший держал младшего на четырёх ударах сердца, пока тот учился молчать. Три доли. Цена сверх — одна тень из мобильных переходит в **якорную**, фиксированную в углу. Колодец требует якоря; якорь не возвращается.

Пять. Восемь. Три. Шестнадцать из двадцати четырёх в счёте.

Ни Меритптах, ни Сетекен своего дома никогда не строили. Первый писал для старших Дома Жизни; второй — для жрецов седьмой ступени. У них была мера; у меня — нужда. Я ставил **по нужде**.

— Командир, — сказал Кирилл у меня за спиной, негромко. — Ты тут чего, типа, медитируешь?

— Нет.

— А чего?

— Готовлю дом.

Кирилл потёр глаз тыльной стороной ладони. Скрижаль в его правой руке мигнула. Потом коротко в неё: *он, чуваки, дом готовит*. Лента вспыхнула ровной полосой и снова пошла белым по красному. У Кирилла стояла та работа, ради которой он у меня в зале сидел; я ему не мешал.

Я встал.

Восточная дверь стояла на расстоянии двенадцати шагов от моего саркофага. Я прошёл их в одиннадцать — на одиннадцатом остановился у того места, где ровный полированный

мрамор зала кончался и лежала широкая тёмная полоса другого камня. Стык: моего домена и их зала.

Я опустил на левое колено. Правую ладонь положил на тёмный камень порога.

Камень был холоднее мрамора. У тёмного камня порога ничего не грелось — он лежал по чужому укладу. На чужой границе формула брала втрое — это я помнил со второй ступени. У меня в счёте было.

Я повёл двумя пальцами правой руки короткую формулу — ту, что у нас в Хемену клали на учебных глиняных болванках на третьей ступени: ребро ладони, два пальца, три знака сверху вниз, на третьем — выдох. Я не произнёс ни слова.

Камень под моей ладонью **разошёлся**.

Не треснул. Не просел. Разошёлся тем ровным разведением слоёв, какое идёт у толстого хлеба, когда его ломает над миской пастух: верхняя корка цела, внутри малая пустота. Я провёл ладонью на полтора локтя в стороны от порога. Расход лёг по строке: одна доля, две, три. На четвёртой я провёл ладонью в обратную сторону — формула стянула слой к центру. На пятой я отнял ладонь.

Слой лёг на полтора пальца под кромкой. На глаз — никакой разницы. Я наступил на камень правым коленом. Колено провалилось на ширину ладони и остановилось — не на дне, на пустоте; нога у меня в этой пустоте увязла, как увязает у обозника в свежей пашне после дождя. Колено вышло на счёт два.

Я отступил два шага. Тёмный камень за моим сапогом стоял ровным, без отметины.

Зыбкая яма легла.

За моей спиной — короткий звук, какой издаёт человек, увидевший то, что не успел переварить. Я не обернулся. Кирилл в скрижале не сказал ни слова. Это было новое.

\* \* \*

В коридоре между восточной дверью и моим залом лежало пятнадцать шагов — короткий сквозной проход без поворота, по обоим бокам обрядовая роспись на стенах. Роспись чужая. Под Гласом стены коридора стояли голые — без формул, без нитей. Чистая поверхность не спорит.

Я прошёл коридор до его середины. Сел на левое колено у северной стены.

Жар стеной лёг по той же формуле, что у меня утром у льна, развёрнутой в полосу. У нас её клали на нижний пояс обрядового зала, чтобы старшие жрецы у вечерних молитв не дрожали: тёплая полоса по стене на уровне поясицы, медленный сухой жар без пламени. Я ставил её выше — на уровне глаз. Та же тёплая полоса, поднятая выше, работала уже не на уют, а на страх.

Я положил обе ладони — правую на северную стену, левую на южную. Провёл двумя пальцами три знака — те же, что вчера на льне, но шире на ладонь. Жар пошёл с моей ладони в стену.

Через шесть ударов сердца я различил Гласом дрожащее мерцание над росписью — невидный простым глазом слой, какой идёт у воздуха над летним камнем у обозной дороги. Полоса встала на уровне моих глаз, ровная, по всей длине коридора. Жар стоял сухой. Сжечь не сжигал; кто пойдёт — почувствует на щеке тот же жар, какой вставал у меня у плавильного очага в храмовой кухне у Несхонс, когда она ставила чашу с молоком на четвёртый ярус нагрева.

Расход лёг по счёту: одна, две, три, четыре. На пятой я поднял ветку выше — для шеи. На шестой добавил левую сторону. На седьмой закрыл ветки у потолка. На восьмой отнял ладони.

Я прошёл коридором обратно — пригнувшись. Жар на моей щеке шёл сухо, ровно; на затылок не прошло. Формула стеного жара у своего ставится тоньше, у чужого толще; восемь долей легло.

Жар стеной встал.

\* \* \*

В северный угол я пошёл последним.

Стекло витрины с малыми каменными фигурами шло по линии северной стены на семь шагов. У витрины пелена моего домена стояла **слабо**— стекло не держит как так, как держит камень. Чужой жрец из тех, кто берёт чужие пелены осторожной работой, прорвёт её здесь раньше, чем у двери.

Я остановился в трёх шагах от витрины. Положил правую ладонь на грудь.

У меня в счёте восемь теней стояли в работе (одна с ночи истончилась до края — в работу её я не клал). Я отметил третью — ту, что во время боя стояла у северо-восточного угла и за бой не двинулась. Свежая. Я взял её.

Тень сошла со стены без шага, той же тёмной длинной полосой воздуха. Я повёл её к стеклу. Она пошла за моей ладонью медленно — как идёт за рукой лента у пряжи, которой нужно положить нить в одно место и закрепить.

В углу я остановил её.

Старшие у нас в Хемену клали эту формулу на нижний пояс обрядового зала, где младшие учились молчать; у младших на неё уходил один разлив послушания. Тень в углу становится не полосой, а **сгущением**— чёрной плотной воронкой ростом в человека, без формы, без шага. Кто пройдёт через неё — у того воля проседает от молчания: удара нет, боли нет, и опереться не на что.

Я отдал тень углу.

Она стянулась к точке у самого стекла, плотно к мрамору пола, и из этой точки пошла вверх — расходящимся столбом плотной темноты. К верху столб плавно расходился, к низу стягивался в пятно ростом с ладонь. Глаз простой не различил бы воронки в обычной тени угла; я различал её ровно. Кирилл со скрижалью у кувшина её бы не снял.

Я отнял ладонь от груди.

Шестнадцать долей ушло в дом — пять на яму, восемь на жар, три на колодец и якорь сверху. Четыре с малым у меня осталось в счёте. Сетекен в девятом своём листе называл это **тремя сетями на одну рыбу**: кто прорвал первую — попадает во вторую; кто прорвал вторую — попадает в третью. Из третьей не выходят. У меня сегодня было три сети.

К утру ка дотянет себе ещё четыре-пять — темпом ма-нес возврат шёл медленно, и ночь была впереди.

\* \* \*

Стража у меня к этому часу стояла у стелы малым кругом. Я поднял её в новый порядок.

Двадцатого — того, у которого общая формула за весь утренний бой не разрешила движения, — я перевёл к саркофагу. Поставил у изголовья, лицом к восточной двери. Этот ушебти за всё утро стоял ровнее остальных; ему я отвёл место **личной охраны**.

Первого — того, у кого правая ключица треснула — я перевёл в коридор, сразу за восточной дверью, на третий шаг. Кто пройдёт зыбкую яму, выйдет в его руки. Гипсовая ладонь у трещины положит давление коротко, потом лопнет; одного-двух он отвлечёт. Больше я с него не спрашивал.

Шестого и четырнадцатого — двух лучших в моей свите — я поставил позади первого, у выхода из коридора в зал. **Вторая линия** после жара. Здесь у моих двух лучших гипсовых ладоней встанет настоящая работа.

В зал у двери — три тени из восьми оставшихся в работе. Пять теней — по углам коридора. Одна якорная — в северном углу. Стрелка домена шла от восточной двери — через зыбкую яму — через жар стенной — через первого ушебти с трещиной — через шестого и четырнадцатого — в зал, мимо трёх теней у входа, мимо колодца у стекла — и до двадцатого у саркофага.

От двери до меня — пять линий. Скипетр и Жезл — мои.

Я сел на нижний камень саркофага. Свиток открыл сводку.

-- Свиток : дом готов --

ушебти 4 / 4

- первый коридор : после ямы : трещина
- шестой коридор : после жара
- четырнадцатый коридор : после жара
- двадцатый у саркофага : личная охрана

тени 8 + 1 в работе

- пять коридор : углы
- три у двери в зал
- одна северный угол : якорная

\* ловушки три сети

- зыбкая яма восточный порог
- жар стеной коридор
- колодец теней северный угол

Жезл Уас 1 / 1

Скарабей-сердце 2 / 3

ка 4.5 / 100

О радиус 72 шага : стрелка домена готова

Я перечитал страницу.

— Командир.

Голос Кирилла шёл негромко, ровно, без обычного *чувакив* начале. Я не оборачивался.

— Я... ну... смотрю всё это в скрижаль, и... — Кирилл выдохнул, попробовал ещё раз.

— Ты не отбиваешься. Ты строишь.

Слово было точное. Я его принял.

— Командир, — сказал Кирилл, и у него впервые за всё утро в голосе ушла игра. Прямой вопрос: — А если их придёт пятьдесят? Хватит?

— На пятьдесят — нет.

— А на сколько хватит?

— На двадцать — хватит. До двадцати дом работает.

Кирилл считал в уме. Я различил это по тому, как у него шевельнулись губы — раз, второй, третий. Потом коротко в скрижаль, негромко, без пляски:

— Чуваки. Командир говорит — до двадцати дом работает. Пятьдесят — не вытянет. Молитесь, чтоб не пятьдесят.

Я сел ровнее. Жезл Уас лёг у правого колена. Скипетр-секира — у левой ладони. Свиток открыт на коленях, на плане домена с тремя ловушками, отмеченными красными ветками. Стела за моей спиной дышала восемью знаками. Кольцо теней по пленным стояло ровно. Кирилл у разбитого кувшина не сходил с места.

Дом дышал.

Я закрыл глаза.

\* \* \*

Шов потолочной щели я **не закрыл**. Не было запаса; не было смысла. Сюда не зайдёт большой.

— Командир, — сказал Кирилл, и голос у него шёл уже короткий, плотный, без обычной мягкости. — По двору идёт кто-то.

Я не открыл глаз.

— Сколько?

— Не знаю. По звуку.

Звук шёл через шов восточной двери — не как утром у ночных оспаривающих, не как у государственной печати. Шёл ровный плотный мерный шаг — несколько; и в этом шаге шла **уверенность**. Те, кто пришёл утром тихо, шли по двое в ногу с заминкой на каждый второй; эти шли всей группой, без заминки, по дисциплине, которой у частных оспаривающих не бывает.

Я открыл глаза.

Кирилл сидел у кувшина, скрижаль в руке, лента в ней шла красным по красному. Он сделал то, чего за всё утро в моём зале не делал ни разу: положил скрижаль на пол. Опустил её на мрамор у разбитого кувшина и развернулся ко мне лицом.

— Командир. Это не охотники. Это Воротынские. По стриму уже идёт. Шестой из утренних, тот, что ушёл, — у них в общем чате через час после боя написал, что *в музее жрец оп.* Они подняли. Это Воротынский. Тот самый. С ним пятеро.

Через шов восточной двери — закрытый монолитом после переноса трёх ка, ровный, плотный, без щели на палец, — пошёл **стук**.

Не вкрадчивый, как у ночных оспаривающих. Не тяжёлый, как у государственных. **Тройной**. Властный, мерный, как три удара жреческого жезла по плите обрядового зала на седьмой ступени, когда старший вызывает младшего к ответу.

Лента у Кирилла в скрижали вспыхнула крупными красными буквами. Он прочитал — губы шли быстро. Поднял голову. Голос впервые за это утро **дрогнул**, потерял мягкость:

— Сергей Сергеевич Воротынский. Младший наследник. Прибыл с группой пять человек. Заявка по форме третьей. Право реванша по правилу оспаривания.

Я положил правую ладонь на грудь.

-- Свиток : заявка --

фильтр Маат заявка принята

(правило оспаривания)

шов восточный : нить опускается

Маат — мера; дом, держащий меру, не закрывает дверей перед оспаривающим. Шов восточный, закрытый монолитом после утреннего перетока, опустил свою нить. Граница пошла принимать.

Я встал.

Жезл Уас — в правую ладонь. Скипетр-секира — в левую. Стела за спиной дышала восьмью знаками. Четыре ушебти в коридоре и у саркофага. Восемь теней в работе. Одна якорная в углу. Двое пленных в кольце.

Зыбкая яма у порога. Жар в коридоре. Колодец у стекла.

Дом — дышал.

— Открой, — сказал я негромко.

Не приказал. Отметил.

Дверь подалась мне навстречу.

## Глава 8

Дверь подалась — внутрь, до угла, и встала там без движения. Шов восточный опустил нить, и граница приняла, как принимает каменная плита печать жреческой канцелярии — без шума, без сопротивления, тем самым ровным дыханием, какое идёт у Маат, когда мера принимает то, что ей положено принять. На ступенях за порогом стояло шестеро.

Сергей шёл первым.

В прошлый раз он шёл лениво — подбородок выше нужного, ладони у боков, сонная скука молодого хозяина на чёрной работе. Сегодня — другая стойка. Плечи под рубашкой не разведены, как у того, кто привык к чужому подбострастию; собраны, как у работника на трудной задаче. Подбородок наверх не задирает. Правое плечо у него всё ещё держалось ниже левого — рана, какую я положил ему в прошлый раз, шла под полотном тёмной полосой, шире, чем по часу выдержки. Эту рану в чужой дом нести было нельзя, а он нёс.

В правой ладони у Сергея — не пустота, как вчера. Короткий жезл, чёрного дерева, обвинительный янтарём по всей длине, концом — гладкая литая голова, без формы зверя или знака. **Артефакт.** Не из той колоды, что я разобрал у него вчера. Что-то из родового хранилища — лежавшее долгие разливы под крышкой, поднятое наверх только тогда, когда внук не дотянул.

За его правым плечом — маг. Тот же, что вчера; но **далее**: не на третьей ступени снизу, а на пятой, под прикрытием двоих с ножами. Стоит ровнее обычного. На правой ладони у него собирается белая нить, но **не та**, что вчера. Тоньше. И не идёт ветвью, идёт точкой — собранной, плотной, какую кладёт мастер у себя в сухой кисти, готовясь к одному малому удару. Этот маг не громовик. Этот — иной школы. **Резчик.**

Я отметил два простых пункта.

Первый — Сергей пришёл **не слабее**. Источник у него прижат — я различал по белой с зеленой по нижнему краю нити, идущей за рубашкой под повязкой; но **он пришёл с подмогой**, какой вчера не было. Жезл рода. Маг-резчик. Время на подготовку.

Второй — это **уважение**. У старшего из Хемену старший писец однажды показал мне на ступенях храма мальчика-послушника, проигравшего своему учителю на третьем кругу формулы. Мальчик пришёл во второй раз с домашней работой и проиграл снова. На третий раз — пришёл с **тем, что нашёл у деда в сундуке**. И выиграл. Старший писец сказал тогда: «Тот, кто после удара ищет, у кого занять, — учится. Тот, кто после удара повторяет ровно то же самое — нет.»

Сергей у меня сегодня учился.

Кирилл за моей спиной — поднялся. На том самом ударе сердца, на котором подалась дверь, он встал от кувшина, и теперь стоял у него вплотную, не отходя. **Не сидел больше.** Скрижаль у пояса, обе ладони свободны. Лента шла белым по красному, без обычных пляшущих букв — ровной полосой. Это было новое.

— Папуас, — сказал Сергей.

Коротко. Без пляски голоса. Голос плотный, низкий, не тот, что у балбеса.

\* \* \*

— Заявка по форме третьей, — сказал второй из тех, что слева от Сергея, без выражения. — Право реванша по правилу оспаривания. Шестой свидетель в реестре. Заходим.

Жетоноосец позади. Носитель амулета-палки рядом. Двое с ножами — впереди.

Передний с длинным ножом шагнул в коридор.

На седьмом шаге у него под сапогом пол **разошёлся**. Не треснул — расшёлся, как у толстого хлеба, который ломает над миской пастух. Колено провалилось на ладонь. Передний дёрнул, попытался выдернуть; колени не пошло, нога ушла в малую пустоту, и сверху на неё легла кромка зыбкой ямы — узкой, ровной, моей работы с вечера.

Он не закричал. Короткое слово, не русское, скорее матерное, какое я уже слышал у солдат в подворье моего отца.

Тень с северной стены сошла к нему.

Она шла той самой полосой, что у нас в Хемену клалась на нижний пояс обрядового зала, чтобы младший служитель учился молчать. Тень обвила переднему горло — узкой петлёй, в ширину льняной ленты у запястья.

Хрип. Лицо синее на счёт три.

Тень держала горло мягко — не до удушения, до того момента, когда воля у человека уходит из груди в живот и обратно не возвращается. На счёте семь воля у переднего ушла. На счёте девять — он осел на ту ногу, какая ещё держалась на кромке. Тень отпустила.

Жетон у него на цепочке отскочил на мрамор — звон тонкий, не цельный.

Лет двадцать пять, не больше. Под глазом у него шла тонкая полоса синяка — кто-то его недавно достал. Костяшка указательного пальца на правой руке — содрана; корка свежая, какую он содрал по дороге сюда, пальцем за пальцем. На внутренней стороне правого предплечья — наколка, какую кладут солдаты у нас в первое лето службы, грубая, иголкой по живому, с одной буквой. Я не различил, какая буква, и не стал останавливаться.

Один в коридоре.

Маг шевельнулся первым. Не Сергей.

Тонкая белая нить пошла у него с ладони — высокий, режущий писк, какого вчера не было; вчера у Сергея молния шла громом, у этого мага шла **скальпелем**. Нить вошла в тень на горле переднего — не разрушила, **подрезала**. Полоса серого воздуха, державшая горло, разошлась тремя ветвями.

Свиток у меня в груди отнял восьмую ветку.

Семь у меня осталось мобильных. Одна якорная в углу.

Группа пошла дальше.

Маг шагнул через зыбкую яму с краю — обошёл переднего по правой стороне, заранее зная, в какую сторону у него уйдёт колесо телеги. Они **смотрели стрим**. У группы была карта, какую сам же дом и подал утром. Это шло в счёт нехваток. Я двинулся по второму шагу.

Жар стеной встал у мага на уровне глаз. Он **пригнулся** — не на ладонь, как ожидаемо; на две, как тот, кто видел запись и считал высоту. Полоса легла ему на затылок.

Запах пошёл сухой, палёный, какой шёл у Несхонс, если она забывала о чаше с молоком, и плёнка сверху сжигалась. Волосы на затылке у мага горят малой долей; кожа красная в одну ладонь. Маг **не выпрямился**. Прошёл коридор так, согнувшись пополам, на длинном шаге.

За ним — носитель амулета-палки, тоже согнувшись.

Жетоносец — последним.

Сергей шёл **после жетоноосца** — тоже согнувшись, не первым, как вчера. В коридоре он держал левую сторону: ту, у которой жара было тоньше. Этот выбор я запомнил.

В зал вышли четверо.

Двое с ножами — за порогом, на стороне зала, рядом. Маг — справа от Сергея, с обожжённой шеей. Жетоносец — слева. Сергей — позади мага, у самой кромки коридора.

Передний остался в коридоре, на колене, мёртв.

\* \* \*

Я стоял у стелы. Не у саркофага — у стелы; за бой я подошёл к нижнему её ряду, и пятки мои стояли на той полосе, по которой шло дыхание знаков.

Группа в зале остановилась. Маг шевельнул правой ладонью — тонкая нить собралась снова, **точечная**, на одной точке кончика среднего пальца.

Я повёл правым плечом.

Лён под моей рубашкой, лежавший у груди ровной обвязкой полугода назад — пелены, в которые меня уложили в Тунэль-эль-Гебели, на которых писец Несиптах нанёс знаки Книги Мёртвых, — пелены **расходились**.

С правого плеча у меня сошла лента в три локтя длиной, расходясь книзу веером, и в воздухе она тонко повернулась, не падая на пол. Иероглифы на ней проступили золотом — те самые, что Несиптах писал, не закрывая глаз, дующим над ладонью и приговаривая по строке. С левого — вторая лента. Со спины — третья. С груди, поверх Свитка, — короткая, толстая, с формулой удержания. Четыре ленты, держащиеся не на ткани одежды, а на моей воле.

Маг увидел.

— Ёб твою... — это второй с ножом, у которого голос пошёл выше обычного.

Маг бросил нить.

Точечная молния прошла **не в меня** — в верхнюю ленту, разворачивающуюся у моего плеча. Лента приняла её на средний знак, какой Несиптах называл *знаком стяжки*. Знак вспыхнул золотом, лента **дрогнула**, но удержала. Молнию провело по ткани вдоль строки, как ведёт мастер раскалённую иглу по льну, прошивая, и она ушла в нижний край ленты, в иероглиф закрытия. Закрытие приняло.

Лента вспыхнула вторым золотом. Сжалась к плечу. Готовая.

Я повёл всеми четырьмя.

Передняя лента ушла к магу — длинно, низко, по уровню колен, той самой полосой, какую кладёт лесная ловчая на тропу зверя. Маг её увидел; пригнулся, перепрыгнул. Я этого ждал.

Сверху на него легла **вторая**.

Она шла с потолка, расходясь надвое за его спиной, и упала на плечи — мягко, тонко, как ткань, которую сбрасывает с лестницы прачка с верхнего этажа. Маг попытался скинуть. Лента **держала**. Иероглифы на ней потянулись по его плечам в одну линию — *стянули*. Маг хрипнул. Точечная нить ушла у него с ладони ему же в свою собственную руку — он сжёг ленту изнутри малым импульсом.

Импульс пошёл по ткани щелчками, как трещит кость, остающаяся на морозе. Лента крошилась с того места, где он жёг, и крошилась дальше — щёлк, щёлк, щёлк, мелкими сухими ударами по пустоте. Иероглифы на ней гасли по одному.

Это была не молния. Это была **родовая разгрузка** — техника, какую у нас в Хемену называли *съём*. Она не бьёт, а **разжимает чужое**: магические структуры, ритуальные привязки, любую формулу, чью устойчивость ты можешь нащупать пальцем. У этого мага были две школы — точечная молния и съём. Сергей привёз **специалиста по магии**, а не подкрепление силой.

Лента опала с мага серым волокном.

Шестой ушебти подошёл сбоку.

Маг шевельнул кистью, чтобы повернуть точечную нить — но я не дал ему собрать её во второй раз. Третья лента у меня уже шла к его правой кисти. Лента взяла его за запястье, прижала к бедру.

Гипсовая ладонь шестого легла магу на висок.

Маг сел. Не упал — сел, как сел утром мастер у двери. Глаза открыты, моргал раз в три удара сердца; воля стояла под формулой шестого, под ней — обученность, под ней — частный страх. Я этого страха не разворачивал. Свиток отдаст в час.

Лента отпустила запястье. Свернулась к моему плечу.

Двое из четырёх.

Носитель амулета-палки двинулся прямо на меня. Амулет вышел у него из-под рубашки — неровный круг с тремя точками внутри, какой я уже видел утром у одного из ночных. Палка с лезвием поднялась к плечу.

Колодец теней стоял у северного угла.

С палкой пошёл по западной стороне зала. Тени у двери шли по общей формуле — самостоятельно идти на любую чужую волю, входящую в их зону. Палка с лезвием попала в их зону на третьем шаге своего хозяина.

Две тени поднялись с пола. Одна обвила ему горло. Вторая — правое запястье. Палка с лезвием выпала из правой ладони на мрамор. Звон слабый, не цельный; лезвие сидело некрепко — мастер у этой палки работал не лучший.

Амулет на шее у него — горел: тонкой нитью света, какой идёт у молодого жреца на первой ступени, когда тот пробует свою связь с богом. Родовая защита поднималась; не успела. Тени подняли носителя на ладонь над полом, опустили на колени.

Кольцо сошло.

Жетоносец стоял у кромки коридора — не двигался, держал левую ладонь на жетоне. Жетон под ладонью шёл мерцанием, не молнией. Слабая нить, какая идёт у того, кто пришёл прикрытием, не ударом. На удар он не шёл.

В зале остались двое **рабочих** — жетоносец у коридора и Сергей в десяти шагах от меня.

\* \* \*

Сергей поднял янтарный жезл.

В прошлый раз между его ладонями встала молния. Сегодня — **не молния**. Из конца жезла пошёл **свет** — холодный, ровный, без удара, какой шёл у нас в Хемену у фитильников нижнего пояса в третий час службы, когда в зале не нужен был сильный свет, нужна была ровность.

Свет лёг **не на меня**, а на пол вокруг меня.

Кольцом.

Я узнал кольцо за один удар сердца. У нас в Хемену школа удержания через свет велась младшими жрицами Хатхор; в северных пантеонах, как мне переводил Свиток за утро через Кирилла, эту же школу несли женские предки боярских родов. **Не атакующее. Удерживающее.** Кольцо вокруг ноги жертвы; жертва шагает — кольцо собирается; жертва пятится — кольцо за ней. Снять кольцо изнутри нельзя; можно сжечь, можно проломить артефактом большего веса, можно убить хозяина — но шагнуть из круга и идти к нему **нельзя**.

Сергей **не нападал**. Он **держал**.

Я отметил это с холодком по затылку.

*Зачем держит?*

Я повёл скипетром навстречу. Бронза легла на кольцо — не пробил, прогнула. Свет под кромкой скипетра потускнел и снова собрался. Янтарь у Сергея — артефакт старше его рода. Дед, прадед, прапрадед — кто-то из них стоял этим жезлом против чего-то крупного, и стоял успешно. Кольцо моё не пускало.

В прошлый раз я положил кромку скипетра Сергею под лопатку и оборвал его связь с богом. Сегодня связь у него прижата с утра; кольцо шло не от Сергея — кольцо шло от **прашура артефакта**, человека, который этот янтарный обод выковал когда-то для рода. У этой связи была отдельная нить, какую Сергей сам не различал, но которую я видел жреческим зрением: тонкая, серебристая, тянулась у него от запястья куда-то **назад**, в глубину родового времени.

Я положил Жезл на эту нить.

Не на Сергея. На прашура.

Жезл моего отца знал эту формулу с моей четвёртой ступени. Заряд у меня был один. Заряд ушёл одним выдохом.

Янтарь у Сергея в ладони **потеплел**. На полдоле — ровной тёплой полосой по среднему поясу. На счёте два — горячей. На счёте три — Сергей **дёрнул** ладонью, как дёргает мастер, схвативший раскалённый штырь.

Жезл упал на мрамор.

Не треснул. Откатился на полтора локтя в сторону, и янтарь по всей длине его **потускнел**— без удара, без вспышки, тем сухим потускнением, какое идёт у мёртвой кости через час после смерти и какое не путаешь ни с чем иным, видевав один раз.

Кольцо света на полу вокруг моих ног **исчезло**.

Сергей поднял правую руку к горлу — под рубашкой шла рация, тёмная полоса провода. Сказал в неё негромко, не сводя с меня глаз:

— Третья. Перевал. Снять. Не дотягиваем. **Сейчас**.

В прошлый раз эта же фраза прошла мимо. Я стоял в позиции победителя и слышал «снять» как «отвести вторую группу с маршрута».

Сегодня я **остановился**.

*Снять*— у них тут это слово шло **обоюдным**. Оно могло значить «отвести». Могло значить «убрать».

*Перевал*— у них тут это слово шло про **крайнюю точку дороги**. Точку, на которой идущий выбирает: дальше или назад.

*Не дотягиваем*— это шло про **то, что не успеваем закончить**.

Сергей не отступал. Сергей **тянул время**.

Я шагнул к нему — медленно, как идёт жрец третьей ступени к младшему, у которого вышел запас слов. Сергей пятился. Двое-три шагов. Не повернулся ко мне спиной.

— Уйди, — сказал я. — Передай.

Это были те же слова, что вчера. Я их не менял; жрец не меняет формулу отпускания вестника.

Сергей у двери оборачился. Впервые за бой смотрел мне в лицо. На лбу у него шла полоса пота — не от боя, от чего-то другого, какого я не различил.

— Ты не понял ещё, папуас, — сказал он. — Сейчас поймёшь.

И вышел.

Жетоносец за ним. Двое с ножами — следом.

Дверь закрылась.

\* \* \*

Шов восточный поднял нить. Граница встала. Трое ушедших, двое оставшихся живыми, один мёртвый, маг и амулет — в кольце.

Зал стоял тихий. Лампы под потолком шли ровным верхним нагревом — слабым, неярким, тем самым, какой стоял у фитильника на восьмом часу утра, когда служитель прибавлял ему пеньки.

Я опустил скипетр. Жезл лёг у правого бедра — пустой, холодный. Янтарный обрубок на полу не двигался, тусклый.

Я не сел. Опёрся правой ладонью на нижний камень саркофага. Кирилл подошёл, опустился рядом, на корточки. Скрижаль он держал у груди обеими ладонями. Лента в ней шла белым по красному, ровно, без букв. Глаза у Кирилла были широкие, не моргающие; такие у него за весь день у меня в зале ещё не стояли.

— Командир, — сказал Кирилл негромко. — У меня в чате... они...

И тогда **пришло**.

Не звук. Не вспышка. **Давление**.

С той стороны восточной стены — рядом, в нескольких шагах от закрытой двери, в нескольких шагах от того порога, через который только что вышел Сергей. Не далеко. **Близко**. Кто-то стоял там всё это время — пока Сергей входил в дом, пока шёл по коридору, пока ставил кольцо удержания, пока тянул время. Всё это время — **рядом**. За тонкой стеной. У меня под лопаткой, через ширину одного камня.

Воздух в зале **подался**.

Не толкнуло — отнесло, тем мягким движением, какое идёт у тяжёлой ткани, какую прачка снимает со шкафа и она проседает книзу, обтекая воздух. Лампы под потолком зала **гасли**.

Не разом. Одна за другой. Дугой — с восточной стены к западной, по тому самому уровню, на котором стоял мой жар сегодня утром. Старший фитильник нижнего пояса в Хемену гасил их так же — проходил с малой палкой и опускал каждый фитиль по очереди, не торопясь, не пропуская ни одного.

Двенадцать ламп. Я успел сосчитать до восьми, прежде чем стало плохо видно.

Стела за моей спиной **закричала**.

Не звуком — жаром. Тем сухим горячим выдохом, какой идёт у плавильного очага в первую долю, когда снимают крышку и пламя выходит наверх. Один знак на стеле — тот, что проступил сегодня утром после смерти переднего в коридоре, — **гас на глазах**. Не тускнел — гас, как уголь, на который не пускают воздух. С восьми проступивших — стало семь. Через половину доли — шесть.

Тени мои в работе — **развеялись**. Не «истончились» — исчезли, как лента льна, в которую дунули. Серая полоса у горла амулетоносца **пропала**. Сам амулетоносец завалился на правый бок без удержания. От якорной тени в северном углу — только пятно гари на мраморе.

Ушебти **застыли**.

Все четверо — на местах, в стойках. Гипс под Гласом отдался той сухой пустотой, какая стоит у поношенной обрядовой болванки на четвёртой ступени. Шестой, державший мага на виске, **завалился вместе с магом**. Маг лёг лицом в мрамор, не шевельнулся. Гипсовая ладонь раскрылась пополам, обнажила деревянную ось внутри. У моего шестого был ось из акации — она держала, но без воли держала вхолостую. Гипс стоял на оси, как одежда на сухом колышке.

Я опустил голову.

Из моей груди вынули нить — ту, что соединяла меня с домом. Дом ещё стоял; пелена ещё держала границу; восточный шов ещё лежал на восьми из десяти. Но **между мной и домом** — на удар сердца — нити не было. Я был **отрезан**.

Жезл Уас у правого бедра — холодный. Скипетр — холодный. Скарабей на груди под пеленами — не отзывался.

Свиток в груди раскрылся **сам**, без моего касания. Открыл лист, какого мне открывать в этот час положено не было.

-- Свиток : ма-нес последний --

ка 1.5 / 100 : возврат остановлен

стела 6 / 47 знаков : -2

(первый знак ушёл в пелену

границы, удержал час)

ушебти 0 / 4 : все застыли

тени 0 / 10 : развеяны

Жезл Уас 0 / 1 : холоден

Скарабей-сердце 2 / 3 : не отзывался

О домен 52 шага : -36

граница дрожит

Я закрыл Свиток ладонью. Ладонь у меня дрожала.

Кирилл рядом смотрел в скрижаль. Лента в ней — **чёрная**. Без букв. Без бегущей полосы. Стрим **оборвался**.

— Командир, — сказал Кирилл. — У меня связь легла. Стрим оборвался, наружу ничего не уходит. Экран горит, а толку ноль.

Я медленно поднял глаза к стеле.

Один из догорающих знаков — тот, что был **в самом верху**, — гас на моих глазах, как уголь без воздуха.

— Это была не Сергей, — сказал я. Голос у меня шёл хриплым, какого вчера не было.  
— Сергей был **только дверью**.

— А кто тогда?

Я не ответил.

Я не знал.

Последняя лампа над западной стеной дрогнула — и погасла.

## Глава 9

Я остался стоять в темноте, на том же месте у нижнего ряда стелы, где меня застал последний удар. Лампы под потолком были погашены чужой рукой все до одной; свет шёл в зал теперь из-за моей спины — слабый, угольный, красноватый, от шести знаков стелы, какие ещё держались. Сама по себе темнота не пугала. Пугало то, что я чувствовал под нею.

Дом стоял.

Понял я это в первый же удар сердца — как только нашёл внутри себя нить, ту, что под чужим ударом пропала было на один удар сердца: пелена держала границу, восточный шов лежал, пусть на четырёх знаках из десяти, пусть дрожащий, но лежал. Дом стоял. И дом тёк.

Чужой удар не свалил его. Чужой удар прошёл по нему трещиной — наискось, от восточного шва к северному углу, по той самой линии, на которой утром стоял мой жар, — и в эту трещину уходила сила. Я слышал её нитью так, как слышит воду в днище лодки тот, кто сидит в ней посреди реки: ровным холодком снизу, что подымается медленно и которого не унять ладонью. Ка дома утекало в разлом — не быстро, по капле; но капля шла за каплей без передышки, и радиус, стоявший утром в семьдесят два шага, к этому часу осел до пятидесяти с малым и оседал дальше. Медленно. Ровно. Без остановки.

Мерил я не каплю — мерил то, что станет, когда трещина дойдёт до края.

Дом был мне не укрытие и не роскошь. Дом был всё. Пока держалась пелена — чужие стволы в этих стенах молчали, чужая воля входила только по мере, и я, поднявшийся из ящика с ка нищего послушника, стоял здесь хозяином. Падёт пелена — стволы заговорят снова, дверь откроется всякому, и зал станет тем, чем был до моего пробуждения: витриной, где под стеклом лежит сухое тело, которое здешние писцы занесли в опись между котлом и медным ломом. Падение дома значило не отступление, а конец — без второго утра, без следующего боя, без счёта, который можно было бы вести дальше.

Холод от мрамора поднялся по ногам, и в этом холоде раны мои заговорили все три разом — левое плечо, правое запястье, прожжённое до кости правое плечо. Днём, в работе, я держал их на дне, куда переводят боль, чтобы она не мешала рукам. Теперь работы не было, и боль встала в полный рост — ровная, та, какую тело несёт, пока несёт само себя. Я отвёл её на дно ещё раз и стал держать дом.

Правую ладонь я положил на нижний камень стелы — тем движением, какое стояло у меня первым во всякое утро службы: входишь в зал, кладёшь ладонь на камень, и камень отдаёт темп. Стела отдала. Не молчанием — теплом, слабым и ровным, тем самым, какого я ждал; шесть её знаков дышали, и дыхание шло мне в ладонь. Но шло оно тонкой струйкой, а трещина пила полно; стела наполняла дом медленнее, чем дом терял. Я держал ладонь, пока не свёл две меры — что входит и что уходит. Уходило больше.

Был старый путь прибавить дому силы — тот, каким я его поднял. Жертва. Сжечь ещё один слой, как сжёт я слой Маат на восходе домена, и подложить горящее под трещину. Я прошёл по себе, как проходит по кладовой хозяин в скудный год, и не нашёл, что жечь. Слой Маат лежал пеплом с первого утра. Слой Тота я утончил, поднимая стражу. Жечь оставалось то, на чём стоял я сам; а кто сжигает себя ради дома, оставляет дом без хозяина — и дом, переживший хозяина на час, оседает следом.

Тогда я стал искать формулу — ту, какой держат дом, когда дом течёт. Учили держать дом жертвой, держать клятвой, держать новым кругом служителей; учили чинить шов и поднимать стелу. Держать дом, из которого силу выпустили чужой рукой и который пьёт сам себя, не учил никто. Такой формулы не стояло ни в одном трактате, какой я знал, ни в той части памяти, где лежали у меня обряды седьмой ступени. Я искал её и не находил — так не находит в тёмной комнате рука предмета, которого в комнате нет.

И тогда я обратился к Тоту.

Формула первого порога лежала у меня на языке с пятой ступени Дома Жизни; её ставят послушнику в первое утро, прежде иных формул, и она коротка настолько, что её не забывают и те, кто забыл всё: имя, дом, лицо матери. *Тот, дитя, услышь.* Сколько я служил, на неё всегда отзывался шёпот — иногда не словами, одним теплом, тем малым «я здесь», какое отец оставляет ребёнку, уходя в дальнюю комнату. И в то утро, когда чужая рука разбила кувшин над моей печатью, шёпот пришёл первым, раньше зрения и раньше боли.

Я произнёс её.

Шёпот пришёл. Слабый, дальний, тоньше, чем когда-либо за мою службу, — но пришёл; мой господин был со мной. На вопрос мой — как удержать дом — он не дал ответа. Не потому, что отвернулся: ответа просто не было — бог письма знал всё, что записано, а этого не записал никто.

Я опустил руку.

Дом тёк. Я слышал это нитью — ровный холодок снизу, каплю за каплей, — и впервые за всё, что помнил о себе, не знал, что делать дальше. Не «что выбрать из двух», как бывает в бою. Не «чем заплатить», как бывает в обряде. Просто — не знал. Я, поднявший дом на пепле богини, сидел над ним в темноте и слушал, как он умирает под моей ладонью, и рука моя была пуста.

Маг лежал у северной стены, носитель амулета — у восточной; ни тот, ни другой не шевелились, и в темноте я не различал, спят они или их воля ушла туда же, куда ушёл свет. Четыре ушебти стояли где стояли — сухие гипсовые тела, в которых не осталось ни капли, чтобы их поднять: дом не мог отдать им того, чего не хватало ему самому.

Кирилл сидел у разбитого кувшина, в трёх шагах. Я различал его по дыханию — короткому, неровному, тому, какое идёт у человека, держащего себя на воле, потому что воли осталось ровно на это, — и по бледному холодному свету скрижали в его ладонях. Скрижаль жила; свет её шёл ровно, белёсо, тем чужим огнём, какого не давали ни факел, ни лампада. Но лента в ней стояла мёртвой — серым неподвижным полем, без бегущих знаков. Чужой удар, погасивший лампы и едва не оборвавший меня от дома, оборвал и её: связь с теми, кто был на другом конце, не шла.

— Командир, — сказал он в темноту. Голос шёл тихий, без обычной пляски. — Командир, ты тут?

— Тут.

— У меня связь легла. Стрим оборвался, чат стоит, наружу ничего не уходит. Экран горит, а толку ноль — я будто в мешок ору.

Я не ответил. Сказать ему такого, что он мог бы взять и употребить, мне было нечего.

\* \* \*

Сколько мы просидели в темноте, я не знаю; счёт у меня сбился вместе с возвратом. Темнота не двигалась. Холод стоял ровный. Раны мои опустились обратно на дно сами, без формулы, — тело устало держать их наверху.

А потом лента в скрижали Кирилла пошла.

Чужая сила, оборвавшая связь, схлынула — осела, как оседает муть в воде, когда её перестают мешать; и сквозь неё, рывками, поползли первые знаки. Серое поле дрогнуло, по нижнему краю пробежала бледная строка, сорвалась, пошла снова и встала ровно. Связь поймалась. Кирилл вскинулся к скрижали рывком, обеими ладонями, на одном вдохе, который прервался у него на середине.

— Есть, — сказал он. — Есть, бля! Вы тут? Чуваки, вы живые?!

Свет скрижали лёг ему на лицо снизу — бледный, голубоватый, мертвенный, при котором живое лицо делается лицом утопленника. И на этом лице, поверх усталости и поверх ноч-

ного страха, вставало то, чего я не видел у него с первого утра: работа. Не деловая нервность писца, поймавшего крупный улов, а другое. Злость. Холодная, сухая, направленная.

— Чуваки, — сказал он в скрижаль, и голос пошёл не вверх, в обычную пляску, а вниз, в плотное. — Чуваки, я не знаю, кто из вас ещё тут, у меня всё вырубилось к херам, но если вы это видите — слушайте сюда. Этот мажор, Воротынский, он пришёл якобы на честный бой. По форме. По правилам. Реванш, дуэль, всё чин по чину. А сам? А сам притащил с собой кого-то, кто вырубил тут всё исподтишка, пока он зубы заговаривал. Свет, связь, всё. Командир чуть не сдох. Не в бою — в спину, в темноте, грязно. Вот это вот — честный бой по-боярски? Вот это у них благородство?

Слова шли ко мне через Глас ровно, без щели, — *честно, мажор, по правилам, грязно, в спину*; и за словами шёл тон, тот плотный сухой гнев, какой стоял у них тут, видимо, отдельной графой и какой Кирилл сейчас лил в скрижаль не для меня, а для тех, кто был на другом конце.

И те, кто был на другом конце, отозвались.

Скрижаль в руках Кирилла задрожала мелкой дрожью — не его дрожью, своей; по краю её, снизу вверх, побежала череда мелких ярких меток, одна за другой, всё быстрее, и при каждой метке скрижаль издавала короткий чистый звук — тот самый, какой издаёт малая бронзовая чаша, когда в неё роняют медную крупицу подношения. Звон шёл чаще. Метки бежали гуще. Кирилл смотрел на них, и лицо у него менялось — гнев сходил, на его место вставало другое, какого он сам, по всему, не ждал.

— Да вы... — сказал он. И осёкся. — Да вы серьёзно? Ребят. Ребят, вы чего? — Звон не прекращался; метки бежали. — Это что, донаты? Это вы за что щас донатите-то? Я ж не показываю ничего. Тут темно. Камера в пол. Я просто... я просто сказал, что это зашквар.

Он поднял скрижаль выше, повернул к себе, читал бегущие по ней письма, не успевая за ними.

— «За правду». «За командира». «Так нечестно, держись». «Боярьё зажралось». «Этих мажоров давно пора». «Респект мужику в простыне». — Голос у него дрогнул, не от страха теперь. — Чуваки, нас тут... да нас тут больше, чем с утра. В темноте. Без картинки. Я не понимаю.

\* \* \*

«Я не понимаю», — сказал Кирилл, не мне; и в этих словах я узнал своё собственное состояние первого утра, когда стоял посреди зала, в котором ни один хребет не был склонён, и не понимал, на кого обращать гнев. Кирилл не понимал, отчего темнота и пустой кадр собрали больше смотрящих, чем собрало утром моё восставшее тело и три боя подряд. Я понимал. Понимание пришло не сразу, не одним движением; оно пришло той медленной складкой, какой приходит разлив в сухое русло, заполняя сперва низкие места.

У них тут была жажда.

Не жажда зрелища — зрелищем их мир был полон, я видел это в скрижали Кирилла, где чужие лица сменяли друг друга без счёта и без передышки. У них была жажда меры. Того, чтобы у боя были правила и правила держались; чтобы сильный, выходя против слабого, выходил по форме, а не бил из темноты в спину; чтобы за нарушение меры кто-то ответил. Кирилл сказал в скрижаль одно слово — *зашквар*, — и Глас отдал мне его смыслом: то, что роняет человека ниже меры, чего делать нельзя, хотя можно. Я подумал сперва, что это слово их ремесла, воровское; потом — что это слово их чести, воинское; потом понял, что оно стоит у них шире и того, и другого, что его знает всякий, и всякий меряет им чужой поступок, и за нарушение его всякий готов уронить медную крупицу в бронзовую чашу стримера, сидящего в темноте.

Это была Маат.

Не моя Маат — у них не было ни Пера, ни Чаши, ни жрицы, ни алтаря; они не знали имени богини и не склоняли хребта ни перед чем. Но жажда меры, какую моя богиня держала под замком, в руках посвящённых, как держат храмовое имущество, у этих людей лежала раз-

литой по всем — как вода разлита по руслу, в котором давно нет хозяина. Каждый нёс в себе малую долю той тяги к справедливости, какую у нас нёс только жрец Маат после восемнадцати разливов службы; и нёс её не как службу, а как нужду — как носят жажду те, у кого отняли колодец.

И жажда эта была больше всякой, какую я знал. У нас меру держали немногие, и держали скупко; здесь её жаждали все, и жажда их не имела дна. У темноты дна не было вниз. У этой жажды дна не было вверх.

Я, сжёгший свою связь с Маат на подъёме дома, я, у кого от восемнадцати разливов служения осталась одна доля фильтра, — я стоял в темноте чужого зала и видел, как моя богиня, которую я предал ради камня, возвращается ко мне с другой стороны: не сверху, через стелу, как ей было положено, а снизу, через толпу, не знающую её имени.

На этом можно было стоять.

\* \* \*

— Кирилл, — сказал я.

Он поднял голову от скрижали. В голубоватом свете я различил его глаза — красные, широкие, не моргающие.

— Командир?

— Подойди. Не к стеле. Ко мне.

Он встал — неловко, затёкши за ночь, придерживаясь свободной ладонью за разбитый кувшин, — и подошёл, держа скрижаль в правой руке, как носил её весь день и всю ночь, не перекладывая в левую. Я смотрел на эту руку. Правая у него всегда была занята скрижалю; левую — у бедра, без дела, с тем малым пренебрежением, с каким человек относится к руке, которой не работает. Я заметил это ещё в первое утро и тогда не положил этому никакой меры. Теперь положил.

— Дай руку, — сказал я. — Правую. Ту, в которой держишь скрижаль.

Кирилл переложил скрижаль в левую — и свет в ней дёрнулся, мигнул, поплыл; в левой руке скрижаль его глохла, я видел это ясно: метки по краю побежали резе, звон стих. Он сам этого не ждал — посмотрел на неё, на левую руку, на меня.

— Командир, у меня в левой не тянет. Глохнет. Всегда глохло, я в левой не снимаю.

— Знаю, — сказал я. — Верни в правую.

У меня в счёте стояло меньше двух долей из ста. На малую формулу не хватало; на то, чтобы вложить чужому в кожу знак чужой богини, не хватало вдсятеро. Метку посвящения у нас старший ставил младшему сам — своей рукой и своим ка, на седьмом году ступени, после долгого обряда очищения. У меня не было ни ка, ни седьмого года, ни обряда. У меня был стример с разбитым кувшином, у которого в правой руке светилась скрижаль, полная толпы, жаждущей меры, и который только что, сам того не поняв, отворил этой толпе дверь.

Значит, не я.

Сешат я знал не как свою — как соседку по ремеслу. Та, что ведёт счёт и записывает, что считает разливы царствований и кладёт меру храмам при закладке; спутница моего господина, идущая с ним в одной упряжи письма. Её жрецы служили в той же палате, где служил я, но за другим столом. К ней я при жизни не обращался ни разу — обращаться к чужому богу мимо своего у нас в Доме Жизни не позволялось ниже седьмой ступени. Но мой господин не дал ответа, а Сешат была богиней записи, а напротив меня стоял человек, у которого вся жизнь шла записью: скрижаль, лента, толпа, которая смотрит и помнит.

— Слушай меня, — сказал я. — Я не дам тебе ничего своей рукой. У меня нечем. То, что я скажу, сделаешь ты сам. Держи скрижаль крепко. Смотри в неё. Туда, где они — те, кто кладёт тебе медь за слово про меру. Думай о них. Не обо мне. О них.

— Ну... думаю, — сказал Кирилл. — Командир, ты чего задумал?

— Есть та, что ведёт всякую запись, — сказал я. — Всякую скрижаль, всякую ленту, всякую память о деле, какое было сделано и осталось в записи. У нас её зовут Сешат. У вас — никак; вы зовёте её делом, не именем. Ты служишь ей с того дня, как взял в руки свою скрижаль, и не знал, что служишь. Сейчас узнаешь.

— Командир, я в богов не особо...

— Она в тебя — особо, — сказал я. — Держи. Назови вслух то, что делаешь. Не мне. Ей. Своими словами, не моими.

Кирилл подержал её. Подержал молчание. Потом — неловко, вполголоса, глядя в ленту, где бежали метки:

— Ну... я Кирилл. Я снимаю. Я показываю людям, как оно есть. Без монтажа. Чтоб видели правду и сами решали. Я с шести утра отсюда не ушёл и не уйду. Это моя работа. Я её делаю честно.

И на тыльной стороне его правой ладони проступил знак.

Не я его поставил. Я не тронул Кирилла и пальцем; в груди у меня не дрогнула ни одна нить, ка я не тратил, потому что тратить было нечего. Знак вышел сам — изнутри кожи, тонкими охряными линиями, какими утром выходил Глас на моей собственной ладони, только бледнее, неувереннее, как первая строка ученика, который ещё не знает, что пишет, но рука уже ведёт. Семь чёрточек, перо и звезда над ними — знак Сешат, какой я видел тысячу раз на стенах палаты письма в Хемену и не чаял увидеть проступающим на чужой коже, в чужом зале, так далеко от той палаты.

Кирилл вскрикнул — коротко, дёрнул рукой, чуть не выронил скрижаль.

— Командир! Командир, у меня рука! Жжёт! Что это, бля, что это?!

— Не три, — сказал я. — Не сойдёт. Это её знак. Теперь ты его носишь.

Лента в скрижали у Кирилла выровнялась.

Не дёрнулась, не поплыла — пошла ровно, гуще прежнего; метки по краю побежали чаще, звон зачастил, и к нему прибавился новый звук, какого не было: ровное низкое гудение толпы, не отдельных крупниц, а потока. Скрижаль его больше не глохла. Знак Сешат изъясил её из-под власти моего Свитка: что бы ни делал мой домен с чужой записью под ударом — глушил, рвал, мутил, — записи этой руки он больше не касался. Сешат вынула своего писца из чужого искажения; её знак стоял выше моей пелены, потому что письмо старше домена.

И по тому же знаку, тонкой тёплой нитью, ко мне пошло.

Не от Кирилла — через Кирилла, через знак на его ладони, как через щель в стене, в которую задувает тёплый воздух с улицы, где стоит солнце. От тех, кто был на другом конце. От каждого — едва различимая капля, меньше той медной крупницы, какую они роняли в чашу; но их было много, и капли сходились в нить, и нить шла тёплой, и она шла в меня — не в стелу, не в дом, в меня, в грудь, под Свиток, туда, где прежде сходилась нить одного только Тота.

Я взял эту нить и не стал держать её в себе.

Меня учили не копить пришедшее ка, а проводить его дальше — в обряд, в дом, в служение; копящий вздувается, как забытый на солнце бурдюк, и лопаётся по шву. Я провёл пришедшее туда, где у меня тёк дом, — в трещину. Тонкой струйкой, по капле, как поливают саженец, у которого корень ещё не взял землю. Восточный шов под моей внутренней рукой дрогнул и подобрал распущенную нить. Стела за спиной — я почувствовал это раньше, чем обернулся, — приняла малую долю и удержала тот верхний знак, что опускался в темноту: не подняла, удержала на краю. Трещина пила прежней каплей. Но то, что входило теперь, шло гуще тонкой струйки стелы, и впервые за ночь убыль и приход сошлись вровень. Дом тёк по-прежнему. Но тёк не быстрее, чем наполнялся.

Свиток у меня в груди раскрылся сам, без касания, и открыл лист, какого в нём не было ни утром, ни в первое моё пробуждение, ни — я знал это так же твёрдо, как знал собственное имя, — ни в одном листе, какой я когда-либо открывал.

-- Свиток : слой неизвестный --

Сешат имя открыто : ранг первый

вера извне приходит : потолок не виден  
источник: не стела  
не алтарь  
не родовая ка  
канал: знак Сешат : ладонь  
правая : Кирилла

ка меньше двух долей : растёт

Я держал ладонь на знаке дольше, чем когда-либо над сводкой. Свиток открыл мне лист с чужим именем — не с именем того, кто едва слышно отозвался этой ночью и не дал ответа, а с именем той, кто ответила делом; и в этом, думал я, может быть, нет измены Тоту, а есть его умысел, какого я ещё не разобрал: Тот не оставляет дитя, Тот ведёт дитя туда, где дитя само возьмёт нужное. Мой господин, бог письма, не знал формулы, какой держат текущий дом, — а его спутница, богиня той же палаты, подала мне её через стримера с разбитым кувшином. Но разбирать умысел господина было не время.

Кирилл смотрел то на свою ладонь, то на меня. В ленте у него гудела толпа.

— Командир, — сказал он тихо. — У меня на руке... это что теперь, навсегда?

— Навсегда.

— А оно... — Он сглотнул. — Оно вообще что делает?

— Оно делает тебя слышным, — сказал я. — Здесь, в моём доме, где всё чужое глохнет, ты теперь звучишь. И через тебя звучу я. — Я помолчал. — И те, кто кладёт тебе медь за меру, кормят теперь не одного тебя.

Кирилл долго молчал.

— Командир, — сказал он наконец. — Я что, типа... храм теперь? Я?

Я не ответил. На это слово ответа не было ни у меня, ни в одном каноне, какой я знал; такого служителя, как Кирилл, в моей школе не водилось и водиться не могло.

\* \* \*

Сидел я на нижнем камне саркофага — когда вернулся, не помнил; ноги привели сами, — и впервые за эту ночь нить во мне шла не вниз, в темноту, а наружу: в гудящую ленту Кирилла, в толпу без имени и без лица, в жажду меры, разлитую по чужому городу, как вода по руслу без хозяина.

Я думал.

Мне открылась дорога, какой не знал ни один старший Дома Жизни — ни Меритпах в сорока двух своих листах, ни Сетекен в боковых записях, ни мой господин, уложивший меня в расчёте на стелу, на жертву, на клятву, на старые пути, по которым ка идёт к жрецу скупю, по капле, через камень и кровь. Эта дорога шла иначе. Она шла через жажду живых, и у жажды не было дна вверх, и потолка у неё Свиток не видел. Дом, поднятый мною на пепле Маат, я мог теперь не латать по шву, выпрашивая у стелы знак за знаком, — его можно было напоить из источника, который сам шёл ко мне, пока стример сидел у моего кувшина и говорил толпе про меру.

Это был ключ. Я держал его в темноте чужого зала и понимал, что он отпирает не дверь — мир.

Но у этого ключа была цена, и цену я разглядел в тот же час, что и сам ключ.

Одна лента Кирилла держала дом на грани — приход сошёлся с убылью, и не более; трещину она не закрывала, она лишь не давала ей расти. Чтобы залить разлом и подняться над

ним, мне нужно было больше — много больше, чем давала одна толпа у одной скрижали. А жажда меры жила не в музее. Она жила там, снаружи, в городе, по которому я не сделал ещё ни шага: в тех, кто клал Кириллу медь, не видя картинки; в тех тысячах, что гудели сейчас в ленте и которых я не мог ни увидеть жреческим зрением, ни сосчитать, ни взять касанием, потому что касание моё доставало на радиус домена, а они были за радиусом — в чужом холодном городе, живущие своей жизнью. Источник не шёл к тому, кто прячется за пеленой. Источник шёл к тому, кого видно.

Мне нужно было понять их.

Понять этих людей — чего они жаждут, чем меряют, отчего кладут медь в чашу за слово про честный бой и не кладут за зрелище; понять, как устроена та разлитая по всем мера, у которой нет ни жрицы, ни алтаря. И — дать им понять меня. Не как мумию в простыне, не как разлом, не как чужого бога из музея, которого боятся бабки и снимают стримеры, а так, как понимают того, кто держит меру там, где её больше не держит никто.

Моё тело пролежало без движения столько, сколько отмерил мой господин; два утра я просидел в этом зале, не сделав ни шага наружу. Дом держал меня — как держит хозяина дом, и как держит узника.

Я встал.

Ноги держали хуже, чем до боя; ка во мне стояло чуть выше двух долей, и каждая из них шла теперь по новой нити, тёплой и чужой. Я прошёл от саркофага к восточной двери — двенадцать шагов, какие два дня назад мерил, расставляя стражу, и какие теперь мерил, чтобы выйти. У порога, там, где кончался ровный мрамор зала и лежала тёмная полоса чужого камня, проходила граница моего дома: золотая нить пелены, опущенная в шов, видимая мне изнутри ровным тёплым свечением.

За нею стоял чужой холодный город, которого я не знал.

Кирилл за спиной поднялся.

— Командир? Ты куда? Командир, ты ж сам говорил — выйдешь, дом не выдержит...

Я не ответил ему. Я поднял правую ладонь и положил её на границу — на ту золотую нить, тёплую под пальцами, как нагретый солнцем лён; и приподнял левую ногу, начиная шаг — шаг наружу, за пелену, в город, где жила жажда меры и где меня ждали, не зная, что ждут.

Граница под ладонью дрогнула.

## Глава 10

Граница дрогнула под ладонью — и я не сделал шага.

Нога моя стояла поднятой над тёмной полосой чужого камня, ладонь лежала на тёплой золотой нити пелены, и в этом положении, на одном вдохе, мне открылись две вещи разом, и обе говорили «нет».

Первое стояло у меня под рёбрами и звалось домом. Дом стоял сам — на стеле, на трещине, на той вере, что капала в него с ленты Кирилла и держала трещину вровень; оттого, что я шагнул за порог, он бы не осыпался. Осыпался бы не дом — я. В своих стенах, на своей тверди, я был силён: стела питала меня, ка возвращалось, рука доставала до дальних залов. За порогом сила эта истончалась до волоса, а за вторым шагом сходила вовсе, и оставался не хозяин дома, а старик в полотне, которого первый сильный возьмёт, как берёт улица всякого слабого. Цену выхода называл мне Кирилл ещё с вечера, и я отмахнулся. Теперь, занеся ногу над порогом, я её услышал сам.

Второе было проще и старше всякой стелы. За порогом лежал город, которого я не знал: его улицы, его сильные, его законы охоты. Войти в него вслепую, на четырёх долях ка, одному, в теле, которое два дня как встало после двадцати шести веков, — это не поход. Это подношение собственной головы первому, кто её заметит. Так не входят на чужое поле; так на чужом поле остаются.

Я опустил ногу — на свою сторону. Ладонь с границы я снял последней, как снимают руку с края колодца, в который чуть не оступились.

Мне нужен был не выход. Мне нужны были глаза за порогом — самому соваться туда было нельзя.

Я повернулся к Кириллу.

\* \* \*

— Ты выйдешь, — сказал я.

Кирилл сидел у разбитого кувшина, скрижаль на колене, лента шла ровной белой полосой. На моих словах он поднялся — медленно, прижимая скрижаль к груди обеими руками, будто я её у него отнимал.

— Командир. Командир, ты чего. — Голос пошёл вверх, в ту тонкую дрожь, какой я у него не слышал даже в темноте. — Ты серьёзно? Я ж не маг, командир. Я выйду — меня первый мажор с района в багажник, или эти твои, бояре, что с утра под дверью толкутся. Я что, заговорённый? Я ж... — он сглотнул, голос полез ещё выше, — я ж не шавка бездомная, чтоб меня не жалко было. Я контент. Я ценный.

*Шавка.* Глас отдал мне слово ровно: бродячий пёс, ничей, которого не жаль. Кирилл говорил, что он не таков, — и был прав дважды. Он был нужен здесь: его лента держала мой дом вровень с трещиной, и убери я её за порог, разлом пошёл бы доедать дом тем же часом. И он не был из тех, кого не жаль; за две ночи у разбитого кувшина он перестал им быть.

Но слово осталось стоять, и стояло оно не о Кирилле.

Мне нужен был пёс. Ничей. Которого не жаль. Которого не уволочёт в багажник ни мажор, ни боярин, потому что хватать будет нечего; который пойдёт, куда пошлю, и увидит, что велю увидеть, и не запросится назад, потому что хотеть ему будет нечем.

— Сядь, — сказал я. — Ты не выйдешь. Ты прав — тебя жаль. И ты держишь дом, пока сидишь у своего кувшина. Выйдет другой.

— Какой другой, командир? Тут нет другого. Тут ты, я, два этих жмурика у стен и куклы твои.

Я не ответил. Я уже шёл к стеле.

\* \* \*

Я опустился на колено там, где у нижнего пояса стелы стояли мои четыре ушебти — сухие, недвижимые, с того часа, как чужой удар вынул из дома всё, чем их держат. Под ними, по холодному мрамору, за две ночи натрясло из их трещин мелкой белой пыли — гипс мастера Анхуэра, осыпавшийся той сухой моросью, какой осыпается всё, в чём не осталось воли стоять.

Я собрал эту пыль ладонью. Прибавил к ней пыль пола — серую, чужую, накопленную чьими-то подошвами, — и ту мелкую сухую крошку, какой музей пах из всех своих углов. Горсть. Две.

Песок и пыль — материал низкий; в Хемену из него лепили не служителей, а игрушку младшим жрицам, чтобы те учили руку перед глиной. Из него не встаёт страж. Но мне не нужен был страж. Мне нужен был нос на четырёх лапах и пара глаз, в которые я смотрел бы со своего камня.

Я свёл пыль в горку, провёл над ней двумя пальцами — той короткой формулой стяжки, какой собирал по утрам сыпучее в комок, — и горка взялась, осела, вытянулась. Я вёл пальцами, и под ними поднималась спина, проступали лопатки, тянулась низкая морда. Ростом вышло с шакала, какие ходили по краю некрополя за рекой и слушали дальше, когда живым было нечего слушать. Четыре лапы. Опущенный загривок. Ни глаз, ни ушей — у песка не бывает ни того, ни другого; видеть и слышать гончая должна была не собой.

Я отдал ей нить зрения — ту тонкую жилу, какой тянутся к дальнему и какой мне прежде не было нужды тянуть ни на шаг за стены этого зала. Жила пошла из-под моей левой лопатки, легла гончей в загривок и вошла в песок, как входит вода в сухую землю: сразу и без следа.

Я положил правую ладонь на грудь.

-- Свиток : служитель --

гончая песчаная повод полный : воли нет

ка 1 / 100

нить зрения тянется : слабеет с далью

О повод триста шагов : далее рвётся

Доля с малым ушла на подъём и на нить зрения; около доли осталось в счёте — почти ничего, но гончая и стояла почти ничего, как стоит дешёво всё, что не жаль потерять. Повод держался на триста шагов — дальше нить тончала до волоса, а на волосе пса не водят.

Гончая поднялась на четыре лапы беззвучно. Песок в ней шёл ровно, тёплый от моей формулы, не осыпаясь.

— Командир. — Кирилл стоял в трёх шагах, и скрижаль в его руке смотрела на гончую, и лента в скрижали бежала быстро. — Командир, это что. Это вот что такое. Чуваки, вы это видите? Он из пыли собрал... собаку. Он собрал собаку из пыли.

— Сядь у моего тела, — сказал я. — Лента пусть идёт. Если я долго не открою глаз — не тряси меня. Тряхнёшь — порвёшь повод, и я останусь там.

— Где «там», командир?!

— На улице.

Я повёл гончую к восточной двери. Граница пропустила её наружу свободно, не спросив, — своё она выпускала, как выпускает хозяин со двора свою же собаку. Я опустился спиной к стеле, сел ровно, ладони на коленях.

Я закрыл глаза.

И открыл их за порогом — её зрением.

\* \* \*

Мир пришёл ко мне снизу, с высоты собачьего загривка, и пришёл он не картинкой, а сразу всем: холодом мокрого камня под лапами, серым ровным светом без солнца, гулом, какого в моём зале не бывало, — низким, ровным, отовсюду, будто весь город дышал одним большим горлом.

Двор музея шёл широкой плитой к воротам. У ворот стояло чужое: полоса, натянутая поперёк двора, — бело-красная, на тонких железных ногах, какой перегораживают не силой, а уговором, чтобы человек сам не пошёл. За полосой — двое в одинаковом тёмно-синем. Один курил, пуская дым в холод; второй стоял, опустив голову над своей скрижалю, и водил по ней пальцем. Оружие у обоих висело у бедра, мёртвое, ненужное. Они не смотрели на музей. Они скучали той ровной казённой скукой, какой скучает младший писец на третьем часу описи, когда опись длинна, а считать в ней нечего.

Глас отдал мне их слова — лениво, через двор:

— ...третий за неделю, слышь. Опять оцепление, опять до ночи стой.

— Музейный который? Этот вообще тихий. Стоит и стоит. Не лезет.

*Не лезет.* Я взял это в счёт нехваток моего понимания: дом мой, стоявший два дня и принявший три боя, у этих людей в синем шёл по разряду «тихий, не лезет» — между двумя другими такими же, на одной строке описи, без особой графы. Меня здесь не боялись. Меня здесь вносили в столбец.

Я повёл гончую вдоль полосы, низко, по самой стене, где её не различил бы и тот, кто искал. За воротами шла улица.

Улицу я не возьмусь описать так, как берут описывать виденное впервые: у меня не было для неё ни мер, ни имён. Колесницы шли без коней — гудящие, с горящими спереди глазами, плотным руслом, в два и три ряда, и русло это не иссякало. Над ними, по стенам домов, горели цветные знаки — без огня, ровным холодным светом, какого не дают ни факел, ни лампада, — и складывались в слова, и слова звали: купить, прийти, взять. Люди шли по краю русла густо, плечом к плечу, и почти каждый нёс перед собой свою скрижаль и смотрел в неё на ходу, не подымая глаз. Город шёл, не подымая глаз. В Хемену так шли только за гробом — глядя под ноги, чтобы не споткнуться о собственное горе. Здесь так шли все и всегда, и горя ни у кого на лице не стояло; стояло другое, чему имени я ещё не подобрал.

Гончая повела носом.

У ворот музея, чуть в стороне, где стена давала затишок от ветра, сидел на картоне старик. Не нищий моего города — те сидели у храмовых ступеней с чашей, и им клали по обычаю, потому что подать упавшему входило в меру. Этот сидел молча, с бумажным стаканом; пахло от него мочой, сырой шерстью и сладковатой гнилью, и в стакан ему не клали. Люди обтекали его, как вода обтекает камень, — не злобно, не брезгливо; они его попросту не видели, как не видишь столб, у которого прошёл тысячу раз. Старик был ниже меры — упал и лежал, — а меры, которая подняла бы его, у этого города на него не было. Никто её не держал. Я смотрел на него гончими глазами и думал, что у нас бы за такого спросили с целого квартала. Здесь не спрашивали ни с кого.

Колесница прошла у обочины — большая, чёрная, с глухими тёмными окнами, из тех, в каких ездит сила. Прошла быстро, у самой кромки, и выбросила из-под колеса веер мокрой грязи на человека, ждавшего на краю. Человек отшатнулся поздно; грязь легла ему по плащу от плеча до полы. Он крикнул вслед — коротко, бессильно; чёрная колесница не сбавила хода и ушла в русло. Никто не обернулся. Сильный взял; слабому осталось обтереться и идти. Пера, на котором взвесили бы этот веер грязи, у них с собой не было — ни у облитого, ни у того, кто облил, ни у целой улицы между ними.

Я вёл гончую дальше, и дальше шло то же: блеск дорогих витрин над холодной кромкой, где грелись у решёток те, кому в витрину было не войти; человек в рванье, спавший сидя под цветным зовущим знаком, который обещал над ним счастье за деньги; и поверх всего — ровный гул и опущенные глаза. Мир шёл мимо самого себя, и каждый в нём нёс под рёбрами свою малую долю «нечестно», и некуда было её положить.

Я понимал теперь, отчего они кладут медь в чашу Кирилла за слово про меру. Здесь меру не держал никто. Здесь её было некому держать.

И на этой мысли, холодком по гончѣму загривку, ко мне с другой стороны пришло иное.

Гончая повела носом не на улицу — вбок, на восток, через русло колесниц, через ряд домов, куда-то за них. Там, неблизко, на самом краю повода, что-то стояло. Старое. Без хозяйина. Не дом, не алтарь, не живая воля — место, где когда-то держали что-то и перестали, и оно осталось лежать в сухом затишке, как остаётся лежать вода в забытом колодце. Гончья шерсть на загривке у песчаного зверя поднялась сама, без моей воли, и потянулась туда.

Я придержал повод. То место я положил в память — но гончую туда не повёл. Не сегодня. У меня было дело ближе, и на дальнее, бесхозное и сухое, ещё придёт свой час.

На обратном пути гончую заметили.

Молодая женщина, шедшая с краю русла, оторвала глаза от своей скрижали — и увидела у стены пса, собранного из серой пыли, без глаз, идущего ровно и беззвучно. Я ждал крика. Крик был — короткий, испуганный, животный; и тут же оборвался. Она остановилась на полшаге, подняла скрижаль, поймала гончую в стекло — раз, другой, поведя рукой вслед, чтобы зверь вошёл в кадр целиком, — и губы её сложили слово, какое я уже знал: *разлом*. Не страх. Не чудо. Добыча для её ленты — такая же, какой для Кирилла было моё восставшее тело. Она сняла пса из праха, как сняли бы облитого грязью на переходе и старика у стены: мимоходом, не подходя, чтобы после пролистать дальше. Через два шага она смотрела уже не на гончую, а опять в своё стекло, и пальцы её бежали по нему.

Я взял и это в счёт нехваток. Чудо здесь не держало чужих глаз дольше одного кадра. Бога уложили в витрину; пса из праха ловили в стекло между двумя шагами; и то, и другое пролистывали к следующему. Зрелищем их было не взять — зрелища у них шло больше, чем они успевали смотреть. Мумия в простыне, разлом, собака из пыли — всё это они уже видели и уже пролистали. Чтобы они подняли глаза и не опустили, нужно было не зрелище. Нужно было то, чего у них не было совсем.

Я повёл её обратно, к воротам музея.

И на стене дома, у самого поворота, горел в холодном свете большой лист — красный, в рост трёх человек.

\* \* \*

Лист был красный — весь, целиком, того густого красного, каким у нас клали только важное: царское имя, печать, кровь на пороге жертвы. На красном стояла звезда о пяти концах, и под звездой — человек: не в железе и не над спасённым городом, а простой, в рабочей одежде, с поднятой рукой и лицом, обращённым вперёд и вверх, в ту же точку, какой на улице не было. Вокруг шли крупные буквы. Глас дал мне их по одной, и я сложил:

**СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ. КАЖДОМУ — ПО ТРУДУ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ.**

Я остановил гончую перед красным листом и читал его долго.

Это было не зрелище. Это было обещание.

Не «приди и смотри» — этим звали все прочие знаки на стенах, и мимо них шли, не подымая глаз. Красный лист звал иначе. Он обещал мир, в котором труд человека взвешен и оплачен по труду; в котором сильный не уносит чужого веером грязи из-под колеса; в котором упавший у стены поднят, потому что так положено, а не потому, что кто-то над ним сжалился. Мир, где мера держится сама — не жрецом, не милостью, а самим устройством вещей, как держится она в честном счёте: вложил долю — получил долю; по делу — воздаяние; и нет руки, какой можно сдвинуть чашу.

Это устройство я знал. Я носил его богиню между лопаток восемнадцать разливов, прежде чем сжѣг её ради дома. Имя ему было Маат.

Я только что прошёл их улицу гончѣми глазами — и на той улице не было ничего из обещанного красным листом. Труд там не весили. Веером грязи из-под колеса платили тому, кто слабее; упавшего обходили, как столб. Мир, нарисованный на стене, и мир под стеной не сходились ни в одной черте. И всё же к красному листу несли то же тепло, ту же малую долю,

не считая, — за обещание, какого никто не держал. Они клеили меру на стены, потому что в руках у них её не было.

Дать им следовало одно.

Не защитника — одного сильного, который встанет над улицей и будет валить чёрные колесницы поодиночке, пока его хватит. Защитника хватает на одну улицу и на одну жизнь; после него снова берёт сильный, и всё идёт, как шло. Им нужно было то, что обещал красный лист и чего не давал ни он, ни кто живой: мир, в котором мера встроена в самый камень. Где весы стоят на каждом перекрёстке и не лгут. Где по делу — воздаяние, и сильному нечем сдвинуть чашу, потому что держит её не сильный, а само устройство мира.

Устройство. Не человек — устройство.

Такого мира у них не было. У меня — был. Я носил его богиню между лопаток и поднял на её пепле дом, в котором уже сейчас, на пятидесяти шагах, на одной трещине, по делу шло воздаяние: кто пришёл оспорить и проиграл — отдал землю; кто служил — тому стоял счёт; и ни сильный, ни знатный не сдвинули в нём ни доли мимо меры. Мой домен и был тем красным листом, ставшим камнем. Малым. На пятьдесят шагов. Но настоящим.

Декорации сошлись сами. Я только смотрел, как они сходятся: чужой, пришедший стереть их мир, нёс им ровно то, что они клеили на стены и чего им не дал никто.

Я отпустил повод.

Нить зрения дрогнула, истончилась, оборвалась мягко; и гончая моя за поворотом, у холодной стены, под красным листом, осыпалась обратно в пыль — серую, чужую, ничью, которую через час сметёт чужая метла и не спросит, что это было. Её не было жаль. В том и стояла вся её цена.

\* \* \*

Я открыл глаза в своём зале.

Тяжесть пришла сразу — затёкшая спина, холод мрамора в коленях, та глухая муть в голове, какая идёт, когда долго смотришь чужими глазами, а возвращаешься в свои. Стела за спиной дышала шестью знаками. Дом стоял на своей трещине, вровень. Лента у Кирилла шла белой полосой.

Кирилл сидел рядом, у моего тела, как было велено, и смотрел на меня — давно, по красным глазам видно.

— Командир? Ну ты вернулся? Ты где был, командир, я уж думал... Чего видел-то?

Я не сразу ответил. Я подымался — медленно, с колена на колено, держась за нижний камень; ноги держали.

Я посмотрел на него: на стримера с разбитым кувшином, на знак Сешат, проступивший на его правой ладони, на ленту, по которой шла толпа, жаждущая меры и не знающая, куда её положить.

— Ты спрашивал меня вчера, кто я для них, — сказал я. — Папуас. Разлом. Мумия из музея, которая не лезет. — Я выпрямился. — Завтра, Кирилл, мы начнём давать им другое. То, что им обещают со стен и не держат.

— Это... это чего, командир? Чего мы им дадим?

Я смотрел поверх его головы, в восточную дверь, за которой лежал чужой холодный город с опущенными глазами.

— Мир, — сказал я, — в котором каждому воздастся по делам его.

## Глава 11

Утро пришло в зал серым ровным светом сквозь высокие окна, без солнца, как приходило здесь всё — без разлива, без часа стражи, без меры. Дом стоял на своей трещине, вровень: пятьдесят два шага в радиусе, как осел он после удара в восьмую ночь, и шесть знаков стелы дышали мне в спину — не больше, чем держали с той ночи, когда трещина съела два проявленных прежде. Я сидел у нижнего камня, спиной к стеле, и нить ка во мне шла чуть полнее, чем шла к ночи: гончая вчерашняя стояла меня дешёво, а лента Кирилла за ночь докапала своё.

Я знал теперь, что им дать. Я не знал ещё, чем.

— Кирилл, — сказал я. — Я спрошу тебя об одном, и ты ответишь мне как есть, не для своей ленты. Что у вас здесь самая большая неправда? Не та, о которой кричат знаки на стенах, — та, которую каждый из вас носит под рёбрами и молчит. Где у вас сильнее всего болит, что нечестно?

Кирилл сидел у разбитого кувшина, скрижалё на колене, лента шла ровной белой полосой. Он поднял глаза, и я ждал чего-то большого — про сильных, что давят слабых, про чёрные колесницы, про старика на картоне, которого вчера обтекала улица.

Он подумал. Поскрёб щетину. И сказал не то.

— Самая большая неправда, командир? — Он усмехнулся, и усмешка пошла вкось, как у того, кто шутит, чтобы не сказать правду прямо. — Вот тебе самая большая неправда. Сожрать тортик — пять минут кайфа. А согнать с пуза этот тортик потом — месяц пахоты. Жрёшь секунду — платишь месяцем. Где тут справедливость, командир? Нигде. Вселенная — она вообще не за нас.

*Тортик.* Глас отдал мне слово ровно: сладкое тесто к празднику, медовое, дорогое. *Согнать с пуза.* Тут слова легли, а смысл их остался лежать чужой грудой, и я разбирал его сам. Я подумал коротко про жертвенные хлебы, какие пекли к разливу, про жир на боках откормленного быка, про сало, что копит на себе тело в годы достатка и сжигает в годы нужды. *Согнать жир пахотой.* Они, стало быть, едят сверх меры в дни, когда еды у них вдоволь, а после месяцами трудятся, чтобы снять с себя то, что наели; и это у них зовётся неправдой мира.

Я едва не отложил это в сторону, как откладывают мелкое. У нас в Дельте жир на боках был знаком достатка, а не позора; толстый писец был писец сытый, и никто не гнал с себя сало, наоборот. Их забота показалась мне заботой людей, у которых нет настоящих забот.

И вот на этом-то я и остановился.

Кирилл шутил. Но он назвал самое верное из всего, что мог назвать. Не про сильных и слабых — про сильных и слабых он сказал бы красиво и не поверил бы себе. А про это — про тесто и про месяц пахоты — он сказал, не думая, и значит, болело по-настоящему. Сильный, давящий слабого, — это чужая беда, далёкая, о ней горюют чужим горем. А своё пузо человек носит при себе и стыдится при себе, и неправду эту знает на ощупь каждый день.

И главное — она была честной. В ней не было ничьей злой воли. Тело наело и тело должно отработать; вложил мало труда — снял мало жира; вложил месяц пахоты — снял меру. По делу — воздаяние. Чище Маат не придумал бы и сам Тот.

Им обещали со стен мир, в котором труд взвешен. Так я взвешу им первое — малое, осязаемое, то, что каждый носит при себе и каждый проверит на себе же, не веря на слово.

— Скажи мне, — проговорил я, и Кирилл насторожился, потому что голос мой сменился. — Та неправда, о которой ты пошутил. Многие у вас её носят?

— Командир, да полстраны её носит. — Он фыркнул. — Это ж золотая жила, сжигание жира. На этом миллиарды крутятся: таблетки, тренеры, эти, марафоны похудения, чаи всякие, пояса с электричеством. Все обещают. Никто не делает. Сожрал — плати потом кровью, по-другому никак. Закон природы, командир. Его не обойти.

Никто не делает. Все обещают и никто не делает — как с красным листом на стене, как с мерой, которую клеят, потому что в руках её нет.

— А если бы кто сделал? — спросил я. — Не обещал. Сделал. Честно — за честный труд, без твоих таблеток и поясов. Пришёл человек, потрудился — и тело его в тот же день отдало меру жира по труду.

Кирилл медленно опустил скрижаль на колено. Он смотрел на меня, и в красных от бессонницы глазах его что-то зажглось — не вера, у Кирилла вера не загоралась никогда; зажглось то, другое, чем у него заменялась вера и что было сильнее её.

— Командир, — сказал он тихо. — Командир, ты сейчас понимаешь, что говоришь? Если ты это сделаешь... если люди увидят, что это работает... — Он сглотнул. — Это не контент, командир. Это бомба. Это вообще всё.

— Завтра, — сказал я. — Не сегодня. Сегодня нам надо взять цену.

\* \* \*

Цену я разложил ему по порядку, как раскладывал бы старшему писцу опись работ.

— Слушай, чего нам нужно. Есть ли близко отсюда место, куда люди ходят трудиться телом? Не за хлеб — для самого труда. Поднимают тяжёлое, бегут на месте, мучают себя по доброй воле, чтобы согнать тот самый жир.

— Качалка, что ли? — Кирилл моргнул. — Спортзал. Да их тут штук пять в пешей. Через дорогу, за углом, «Олимп» этот, я туда ходил полгода, бросил. Здоровый, два этажа центр.

*Качалка.* Под словом легло место, где раскачивают тело, как раскачивают на канате тяжесть, чтобы оно стало сильнее. Дом труда без поля и без господина, куда человек приходит сам и сам себя нагружает. У нас таких не строили — у нас тело нагружала работа, а кто хотел силы сверх работы, тот шёл в борцы или в гребцы при храме. Свой дом для добровольной пахоты — это было ново и говорило о людях больше, чем красный лист: у них столько достатка, что им приходится выдумывать себе труд.

— Тот, что близко, — сказал я. — Завтра ты позовёшь туда людей через свою ленту. Зови так. — Я выговаривал медленно, чтобы он записал верно. — Кто хочет согнать с себя меру жира честно, без таблеток и поясов, — пусть придёт завтра в этот дом труда. Пусть нанесёт на тело знак, который я укажу, — хоть углём, хоть краской, хоть тем, чем у вас пишут, всё равно. И пусть трудится усердно одиннадцатый и двенадцатый час дня — два последних перед самым закатом. И к закату он снимет с себя египетскую меру жира — три, четыре, пять той вашей меры, какой меряете тяжесть.

— Кило, — подсказал Кирилл. — Килограмма три-пять. А «одиннадцатый-двенадцатый час», командир, — это по-нашему сколько?

— День от восхода до заката у нас делят на двенадцать часов, — сказал я. — Последние два и есть одиннадцатый с двенадцатым; они ложатся перед самым закатом. Часы у вас ровные, а наши тянутся с сезоном — но к закату это ваших часа два, как ни мерь.

— А, два часа до заката, — Кирилл застрочил. — Так и кину в ленту, по-нашему, в часах.

— Три-пять кило за те два часа честного труда, — повторил я, чтобы легло. — Бесплатно. Никому ничего не должен. Только знак и пот.

Кирилл записывал, шевеля губами, и вдруг поднял голову:

— Командир, а если не сработает? Я ж это в ленту брошу — а если люди придут, попашут как кони и ничего? Меня ж на куски порвут. Это, командир, репутационный суицид. Я ж тогда не СерЪ, я тогда клоун, который египетскому деду поверил.

— Сработает, — сказал я.

— Откуда ты знаешь, что сработает?!

— Оттуда, — сказал я, — что я сам это сделаю. Не таблетка снимет с них меру. Я сниму. Он смотрел на меня долго. Потом тихо, без шутки, спросил:

— А тебе-то это зачем, командир? Ты ж не из доброты. Я тебя уже знаю немножко.

Я не ответил ему всей правды. Всю правду он понёс бы в ленту, а ей в ленте было не место. Я сказал ему ту часть, которую он мог снять.

— Затем, — проговорил я, — что человек, на котором стоит мой знак и который потрудился под ним и получил по труду, — этот человек после поверит, что мера бывает честной. А мне нужно, чтобы они поверили.

Это было правдой. Это была половина правды. Другая половина лежала глубже, и о ней я не говорил даже Гласу: пот их и вера их, и та влага, что я сниму с них вместе с жиром, — всё это потечёт по тонкой жиле не в пустоту, а ко мне. Я не только дам им меру. Я возьму с них долю за то, что дал. Они уйдут легче на три кило и легче на одну долю той силы, что копится в человеке и о которой человек не знает. Первого они хватятся у весов и обрадуются. Второго не хватится никто.

Декорации сходились так же, как сошлись вчера под красным листом. Я давал им желанное, бесплатное, честное. И я картировал их тела и собирал их веру в свою чашу. Это было одно действие. Я не делил его надвое и не собирался.

— Знак, — сказал Кирилл. — Какой знак-то рисовать? Анх твой? Глаз этот?

— Нет, — сказал я. — Знак будет новый. Дай мне, на чём чертить.

Он порылся в своём ворохе у кувшина и протянул мне белый плоский лист — гладкий, неживой, какого у нас не делали, и палочку, что писала сама, без чернильницы. Я взял палочку непривычной рукой и повёл по белому.

Старых знаков я не брал. Анх, око, перо — в каждом стояла уже своя сила и своя память, и наносить их на полстраны чужих людей я не стал бы. Знак для них надо было сложить новый — простой, чтобы начертил и младенец, и узнаваемый, чтобы лёг в память с одного взгляда. И верный по сути, потому что неверный знак собрал бы неверное.

Я начертил весы. Два коромысла на одной перекладине — древнейший образ Маат, какой клали покойнику на сердце, чтобы взвесить его против пера. На одну чашу я положил песочные часы — тот их прибор, что отмеряет утекающее время струйкой песка; я видел такой у реставратора на столе и понял его сразу, потому что время, текущее песком, мы знали и сами. На другую чашу я положил узел — простой узел верёвки, какой вяжут, когда дают слово и связывают себя словом.

Время — против связи. Труд, отданный за час, — против обета держаться. Вложил время — взвесил против слова; сошлось — мера честна. Вот что говорил знак тому, кто на него смотрел.

Себе он говорил иное, и об этом я Кириллу не сказал. Песок в часах — это не просто время труда. Это утекающая жизнь, мера, отпущенная человеку, та самая, которой не хватило ни Несхонс, ни Мерит-Тот. А узел — это не просто данное слово. Это привязь. Кто наносит на себя мой знак, тот кладёт на чашу остаток своих дней против узла, которым вяжет себя ко мне; и пока узел держит, чаша моя. Знак был честен в обе стороны разом — и тем он был хорош: ни светлой стороной, ни тёмной он не лгал.

Я отдал лист Кириллу. Он посмотрел и присвистнул.

— Командир, а красиво. Весы, часики, узелок. — Он повертел лист. — Это ж брендится на раз. Логотип, считай, готовый. — Слово «логотип» Глас мне отдал как «знак торговца», и я не поправил Кирилла, потому что в чём-то он был прав: я и был тут торговцем, и торговал верой.

— Завтра он будет на телах, — сказал я. — А сейчас бери ленту и зови людей. Зови коротко, зови громко, обещаю прямо. К десятому часу дня они должны быть в том доме труда.

Кирилл поднял скрижаль, провёл по ней правой ладонью — той, на которой проступал теперь тонкой золотой строкой знак Сешат, — и лента ожила. Я не понимал слов, что он бросал в неё, по половине; они шли быстро, скаканьем, с теми их выкриками, какими он вёл толпу. Я разобрал «Ирод», разобрал «жир», разобрал «бесплатно» и «завтра». Остальное было его

ремеслом, и в ремесле своём он был хорош, как хорош огранщик в огранке: я слышал, как ровный белый поток за стеклом скрижали стал сбиваться, дёргаться, расти — толпа на той стороне ленты толкалась и множилась, и медь, какую они кидали ему за слово, посыпалась чаще.

— Командир, — выдохнул Кирилл, оторвавшись. — Командир, их уже три тыщи в эфире. Пять. Семь. Они с ума сходят. Кто-то пишет «развод», кто-то «приду проверю», кто-то уже скриншотит знак твой. — Он засмеялся, и смех был нехороший, счастливый. — Завтра в «Олимпе» будет не протолкнуться. Ты понимаешь, что мы делаем, командир? Мы делаем историю.

Я не делал истории. Историю писали при царе писцы, и Манефон после них. Я делал меньшее и большее разом: я готовил себе первую жатву в чужом поле.

Для жатвы нужна была сила, которой у меня не было.

\* \* \*

Я разложил завтрашнее на три дела, и каждое требовало силы сверх той капли, что копила во мне лента.

Первое: Кирилл должен будет выйти из дома и дойти до дома труда, и стать там моим дальним якорем, потому что самому мне за порог нельзя — не дому в убыток, дом постоит и без меня, а себе: за стенами сила моя истончается до волоса, и там я не хозяин, а добыча, как был бы вчера, не пошли я вместо себя гончую. Без якоря я не дотянусь до того зала. Но и якорь надо укрыть: выйди Кирилл за оцепление со своей лентой и моим знаком на скрижали — его возьмут под локоть прежде, чем он перейдёт улицу. Нужна была маскировка, тонкая пелена, чтобы глаз сильного скользнул по нему, как скользит по столбу.

Второе: сам ритуал. Снять с многих тел разом меру влаги в нужный час, на расстоянии, мягко, по труду каждого — это не удар и не приговор; это работа тонкая, как работа того, кто сводит воду с залитого поля по канавкам, не сорвав посева. Я знал, как это чертится. Я не имел, чем это запитать.

Третье: канал. Та жила, по которой пот их и вера их потекут ко мне, а не растают в воздухе. Тоньше волоса, длиннее всего, что я тянул, — её одной хватило бы исчерпать меня досуха.

Три дела, и под каждым — пустой счёт. Я заглянул в Свиток без надежды на иное.

-- свой счёт : перед делом --

ка 2 / 100

слой Тота 5 / 10 : утоньшён : возврат замедлен

слой Маат 1 / 5

вера извне 4 доли : копится

Две доли из ста. У послушника Хемену в первый месяц службы было двенадцать; у меня — две, и на эти две я собирался тянуть три тонкие жилы за стены зала. С тем же успехом я мог зачерпнуть ладонью реку. Лента копила, но копила медленно — к закату набралось бы доли четыре, пять, и этого не хватило бы и на одну из трёх работ. Нить Тота, что я утончил, поднимая стражу, так и не доросла назад до прежней толщины — заёмная нить отдаёт медленно, и слой мой стоял на пятой ступени лишь по имени, а на деле тёрк вполсилы.

Силу следовало взять не из ленты. Силу следовало взять там, где она уже лежала, накопленная и брошенная, как лежала вода в забытом колодце.

И я знал, где она лежит. Я почувал её ещё в первую ночь, когда дом мой только встал и нос мой — не гончий, свой — повёл по этому дому-громаде, в котором меня заперли. Не за стенами. Внутри. В соседних залах, куда мне не было ходу из домена, но был ход телом, пока я держусь пределов этого дома и не переступаю его внешнего порога.

Я поднялся от стелы. Ноги держали — две доли всё же не две капли.

— Командир, ты куда? — Кирилл вскинулся. — Тебе ж нельзя за порог, дом упадёт!

— Дом не упадёт оттого, что я пройду, — сказал я. — Дом стоит на стеле, не на мне. За внешний порог я и впрямь не выйду — да только не дому в убыток, а себе: там я гол. А этот зал — не порог. Граница моя кончается у внешних дверей музея, не у дверей этого зала. Я пройду внутри. Сиди, держи ленту.

Граница пропустила меня, как пропустила вчера гончую, — своё она знала. Я переступил тёмную полосу чужого камня в дверях зала и пошёл соседними залами музея, где не горел верхний свет и стояла та особая тишина, какая стоит ночью в храмовой кладовой, набитой богами на покое.

## Глава 12

Я нашёл его в третьем зале, в стеклянном ларе у дальней стены.

Сосуд был мал — глиняная урна, потемневшая, с крышкой в виде головы, какие у нас делали для нутра покойного. Под ним стояла белая табличка с буквами, и Глас отдал мне их: безымянный, говорила табличка, жрец малого ранга, Поздний период, происхождение неизвестно. Имени не было. Имя у него отняли те же, кто отнял у меня моё, заменив на музейную строку, — только мне оставили хоть какое, а ему не оставили никакого. Он лежал тут пеплом и крошкой кости, собрат мой по ремеслу, малый служитель неназванного бога, и две тысячи лет в нём, нетронутая, лежала та сила, какую кладут в жреца при посвящении и какая не уходит со смертью, если тело сохранено, — а его сохранили, пусть и в чужом ларе под чужой строкой.

Я стоял перед стеклом и говорил с ним. Не Гласом — своим, тем, каким говорят с равным.

— Брат, — сказал я тихо. — Я не знаю твоего имени, и в том не моя вина, а вина тех, кто запер нас обоих под стекло. Я не подниму тебя. Поднять тебя равным мне нечем — на это надо силы больше, чем есть во мне самом, а если бы и была, ты встал бы чужим богом в чужом теле, и тебя пришлось бы вязать, как вяжут раба, а я не подниму брата рабом. И отпустить тебя в покой я не отпущу — мне нужна твоя сила, вся, какая в тебе осталась. Прости меня. Там, за стенами, лежит поле, которое надо засеять, и нечем. Ты дашь мне сев.

Я разбил стекло локтем, обёрнутым в полу пелены. Урну я взял в обе руки, поставил на пол и снял крышку-голову.

И отдал его на топливо.

Я не стану писать, как это чертится и какими словами зовут первородную силу обратно в мир из того, что её хранило, — это не для ленты и не для чужих глаз. Скажу только, что я провёл над открытой урной формулу высвобождения, ту, какой у нас разбирали отслужившие свой срок храмовые предметы, чтобы сила их не пропала зря, а вернулась в оборот; и что прах в урне на миг занялся изнутри тусклым тёплым светом, будто вспомнил, чем был; и что свет этот пошёл из урны не вверх, как уходит душа, а вбок и вниз — ко мне, в мою пустую чашу, потому что я держал её открытой и звал. Урна осела серой трухой. Голова-крышка треснула пополам сама. Имени так и не было — ни на табличке, ни во мне; брат ушёл в меня безымянным, и это было хуже всего, что я сделал за эти три дня, и я знал это, и сделал.

Сила вошла в меня тяжело и сразу, как входит в сухие мехи вода под напором, — едва не разорвав по швам.

-- свой счёт : после жертвы --

ка 41 / 100

слой Сетха 0 ->1 / 5 : отозвался

вера извне 4 доли : копится

жертва служитель безымянный : принят

Сорок одна доля из ста. С двух — до сорока одной за одно высвобождение; столько бывало у послушника к концу первого года, и теперь столько стало во мне, взятого с того, кому оно больше не служило. Этого хватало на три жилы. С запасом.

И ещё одно отметил я в счёте, и оно было важнее цифры. Слой Сетха, пустой с того часа, как я очнулся в витрине, — слой, в котором у меня не стояло ни одной формулы и который я носил пустым, как носят пустые ножны, — этот слой отозвался. Не наполнился. Шевельнулся. И шевельнулся не сам собой: я сам разбудил его, ещё не выйдя из третьего зала, потому что уже знал, какой формулой стану сводить завтра воду, — а формула эта была сетхова, и сетхова насквозь.

Жажда Сетха. Я носил её при себе со своих войн, как носят меч, который однажды наточили и больше не вкладывали в ножны до конца. То была не водяная формула Тота и не мерная формула Маат — то было оружие красного бога пустыни: иссушение, отнятие воды у живого тела досуха. Сетх дал её людям не поить, а карать. И, потянувшись завтра к ней, я потянулся к нему; и пустой его слот, лежавший во мне немо, ответил тем тихим теплом узнавания, каким отвечает старый пёс на голос хозяина, которого не слышал давно. Я не наполнил слот. Я лишь дал понять Сетху, что снова держу его оружие в руке. Этого хватило, чтобы он отозвался.

Я взял это в счёт нехваток. Я готовил жатву Тоту и Маат — а первым к делу повернулся Сетх, потому что дело это было его рода.

\* \* \*

Я вернулся в зал серой трухой под ногтями и полной чашей под рёбрами. Кирилл встретил меня глазами, в которых стоял вопрос, и я ответил прежде, чем он спросил:

— Я взял цену. Теперь раскладываю на три.

Сорок одну долю я разложил так, как раскладывают зерно по трём бороздам, помня, что зерна больше не будет до самой жатвы.

Первое — на Кирилла. Я сел напротив него, велел подать левую руку — ту, что без знака Сешат, что он всегда держал за спиной от ленты, — и провёл по тыльной стороне его ладони короткую пелену сокрытия. Не глубокую; глубокая стёрла бы его и для ленты, а лента завтра должна работать. Тонкую: чтобы глаз сильного, скользнув по Кириллу на улице, не зацепился, а пошёл дальше, как идёт мимо столба, мимо старика на картоне, мимо всего, что улица не видит. Я взял на это малую долю — Кириллу довольно было стать невидным, не невидимым.

— Командир, чего это? — Он разглядывал руку, на которой ничего не проступило глазу. — Тёплая стала.

— Завтра ты выйдешь за порог дома и дойдёшь до дома труда, — сказал я. — Тебя не остановят, если ты сам не дашь повода. Не беги, не оглядывайся, не лезь под глаза. Иди, как идёт человек по своему делу, и улица тебя не заметит. В доме труда ты встанешь со своей лентой и будешь стоять. Ты — мой дальний якорь. Через тебя я дотянусь до того зала, не выходя сам. Порвётся якорь — порвётся всё.

— То есть я опять держу всё на себе, — пробормотал Кирилл. — Командир, у меня скоро спина не разогнётся от того, сколько я тут держу.

Второе — на ритуал. Эту борозду я готовил долго, потому что она была тоньше всех, и тонкость её была не в том, чтобы взять много, а в том, чтобы взять мало.

Жажда Сетха не задумывалась брать мало. Этой мерой при Априи усмирили великий бунт в каменоломнях: к закату от трёх тысяч восставших осталась солёная пыль да брошенные сандалии. Слуха о ней хватало, чтобы персидские колонны разворачивались у границы, не размотав знамён. А ныне тучный писец углём рисует мой знак на животе и просит — нижайше, дважды просит — применить её к нему. И платит за это верой. Я готовил оружие, от которого пустели каменоломни, чтобы согнать с двух сотен сытых горожан по три кило сала, и красный бог пустыни, верно, не знал, смеяться ему или гневаться.

Сетхова формула в чистом виде проста и оттого зла. Сердце её — один знак: разверстый рот пустыни над знаком воды, и между ними — глагол отнятия, резкая черта вниз, какой пишут «вырвать», «оторвать с корнем». Рот сверху, вода снизу, между ними нож. Кто чертит это над живым телом, тот ставит над телом самую сушь Дешерет, красной земли, где нет ни капли и не было от начала; и сушь тянет воду из тела к себе так же тупо и так же неотвратимо, как песок тянет пролитое из чаши. Ни мерила в этом знаке нет, ни жалости. Сетх не для того его дал. Он дал его, чтобы у врага во рту не осталось слюны проклясть.

Опасность тут не в силе — силу-то я как раз сбавлял. Опасность в природе самого красного бога: его оружие не любит, когда ему вяжут руки. Полная Жажда хочет рвать всю воду и всю разом, и если правишь её неверно — не сточишь, а лишь надломишь, — она срывается с

правки и берёт по своему древнему праву, не спрашивая, чью воду берёт и сколько. Держать Сетхов знак в руке — всё равно что держать на коротком поводке зверя, который сильнее тебя и об этом помнит. Я держал его прежде, на войнах, и знал, как он ходит под рукой: ровно ровно, а потом коротким рывком пробует, крепко ли держишь. Сетекен о таких формулах писал, что в них «воля бога острее воли жреца», и предупреждал не брать их без нужды; нужда у меня была, и я взял.

Я начертил её углём прямо на мраморе пола, в круге у нижнего камня, чтобы чертёж лежал в ядре дома, где стела держит мою спину и мою волю, а тянулся к дальнему залу через якорь-Кирилла. Круг я провёл первым — не для красоты, а как стенку колодца: чтоб сила, поднятая в середине, не растеклась по залу, а стояла столбом и шла туда, куда я ей укажу. По двум осям круга я положил оси хода воды: ось север-юг — это путь от тел к моему знаку на их коже, ось восток-запад — это путь от знака волосяной жилой ко мне. На пересечении осей, в самом сердце круга, и встал главный знак, рот над водой; от него я повёл наружу четыре канавки — не прямые, а с порогами, ступенями, как ведут оросительный арык под уклон, чтобы вода шла, но не неслась.

И, чертя, сбавлял её — ступень за ступенью, как сбавляют огонь под котлом, чтобы не вскипело. Сбавлять Жажду — не значит ослабить черту; черта остаётся той же, иначе знак развалится и бог не отзовётся вовсе. Сбавлять — значит поставить на пути силы заслоны, и каждый заслон отнимает у неё что-то одно из того, чем она страшна. Полная Жажда рвёт воду из тела разом, всю, не разбирая, и оставляет солёную пыль. Я отнял у неё это «всю» и «разом» — двумя разными заслонами, потому что это две разные жадности, и снимать их надо порознь.

Против «разом» я поставил пороги в канавках: вода идёт не потоком, а уступами, перетекая из ступени в ступень, и сколько ни напирай сверху сушь — за один уступ возьмёт лишь то, что в уступ влезло. Так весенний разлив, пущенный по ступенчатому арыку, поит поле, а не смывает его. Против «всю» я поставил мерный знак Маат поперёк главной черты — малое перо, наложенное на нож отнятия так, что нож режет уже не «всю воду», а «воду сверх меры»; перо стоит порогом и не пускает черту глубже, чем в тот излишек, что тело само согласно отдать. Это была самая тонкая из вставок, и руку на ней я держал твёрдо: дрогни уголь — и перо легло бы криво, мера сбилась бы, а Жажда, почуяв щель, прошла бы сквозь меру до живой воды, до той, на которой стоит сердце. Меритптах на этом месте велел бы остановиться и не идти дальше; но Меритптах не знал доменов и не вязал Сетха к Маат, потому в его трактате об этом нет ни строки, а у меня под рукой лежало поле, которое надо засеять, и не было у меня иного семени.

Оставались ещё две жадности, тоньше первых. Жажда берёт где попало — из глаза, из крови, из самого сердца, отовсюду, где в теле есть влага. Я сузил ей русло: повёл черту не ко всякой воде в теле, а только к той, что тело само гонит наружу, к поту, к испарине усилия; русло это я обвёл знаком кожи, поставив телу границу по самой шкуре, чтобы Жажда не лезла глубже потовой влаги и не трогала ту, на которой человек живёт. И последнее — Жажда берёт у всякого без разбора. Я положил ей разбор: пусть берёт лишь там, где влага гонится трудом, честным усилием тела, а у того, кто стоит и не трудится, канавка пускай стоит сухой и знак молчит. Этот заслон я ставил не чертой, а самой мерой Маат, потому что разбирать честное от нечестного — её ремесло, не Сетхово; Сетх такого разбора не умеет и не хочет.

Так карающее лезвие я сточил до тупого края — до того края, каким сводят воду с заливого поля по канавкам, чтобы не сорвать ил и не унести семя. Зверя на поводке я не отпустил — я лишь укоротил повод до длины глотка и поставил между его пастью и горлом человека перо Маат. Сетхово оружие в руке жреца Тота, поставленное мерой Маат служить полю, а не пустыне, — такого, верно, не чертили ни в одной школе, ни в Хемену, ни в Эдфу, ни у птолемеевых писцов; и красный бог, чью силу я гнул под честную меру, своей доли в этом деле,

думаю, так и не понял — а Жажду, сведённую до глотка пота в доме добровольной пахоты, он не свёл бы и под пыткой, потому что не для глотка её ковал.

Я положил формуле путь: от тел занимающихся — через пот, через кожу — к сухому песку моего знака на их коже, а оттуда волосом ко мне. Тело отдаст воду туда, куда я её свёл, как отдаёт залитое поле, не зная, что его сушат.

Третье — канал веры — я свил последним и тоньше всего. Лента Кирилла несла мне веру тех, кто смотрел; а завтра я хотел веру тех, кто трудился, — она толще, потому что зрелище пролистывают, а своему поту верят. Каждый, кто к закату встанет у весов легче на три кило, отдаст мне в тот же миг долю — не заметив, как не заметил отданной влаги.

Я отметил все три борозды засеянными и накрыл уголь рукой, гася чертёж.

— Готово, — сказал я Кириллу. — Завтра под вечер ты выйдешь. Я останусь здесь, у камня, с закрытыми глазами, как был с гончей. Не трясни меня, что бы ни случилось. Тряхнёшь — оборвёшь все три жилы разом, и тогда полтора человека пойдут зря, а я останусь сухой. Понял меня?

— Понял, командир. — Кирилл смотрел на угольный круг на полу, на весы с песочными часами и узлом в его середине, и лицо у него было непривычно тихое. — Слушай. А это точно... по-доброму? Ну, то, что мы делаем. Люди ж реально похудеют. Бесплатно. Без разводил. Это ж добро, да, командир?

— Это добро, — сказал я. И это было правдой. Я не сказал ему второй половины — что та же жила, по которой завтра потечёт ко мне их благодарность, понесёт и их влагу, и долю их силы, и первый узелок их зависимости от меня; что весы с часами и узлом я начертил так, чтобы они были честны обеими сторонами; что Жажда Сетха берёт воду, не спрашивая, а я лишь учу её спрашивать.

Кирилл хотел добра. Я давал добро. Мы делали одно дело, и оно было добром, и оно было моей жатвой, и разнимать его на две правды я не стал бы и под Пером.

\* \* \*

Назавтра под вечер Кирилл вышел.

Я сидел спиной к стеле, ладони на коленях, глаза закрыты, и держал в себе три жилы разом, как держит возница три повода одной рукой. Через якорь его я был в доме труда, не выходя из своего зала: я не видел того дома глазами и не слышал ушами — Кирилл шёл туда телом, а я тянулся за ним жилой, и через жилу мне приходило не зрелище, а тяжесть и движение, как приходит рыбаку по натянутой бечеве, что ходит на той стороне сети.

И на той стороне ходило много.

Кирилл дошёл — пелена сокрытия легла на него верно, его не остановили; я узнал это по тому, как ровно шла бечева, без рывка. Потом бечева вошла в дом труда, и в доме труда меня встретило тепло. Много тепла. Полтора тела, две сотни, больше — они пришли. Они пришли на слово стримера и на знак, начертанный мной на белом листе, и теперь стояли там тесно, под зов Кирилла, и наносили на себя мой знак — углём, краской, тем, чем у них пишут по коже; я чувствовал каждый знак, как чувствует пастух каждую метку на своём гурте: вспыхивала тонкая искра, и тело, на котором она вспыхнула, входило в мой чертёж.

Сто. Двести. Триста знаков. Жила веры натянулась и загудела.

Кирилл бросал в ленту своё, и лента множилась за стеклом — я не слышал слов, но слышал гул той толпы, что смотрела со стороны, и гул той, что пришла трудиться. Потом, в одиннадцатый час, дом труда пришёл в движение. Тела навалились на тяжесть. Тела побежали на месте. Тела согнулись и разогнулись, согнулись и разогнулись, по сотне раз, по двести, на пределе и за пределом — полтора человека разом погнали из себя пот, и пот этот пошёл по моему чертежу, по сточенным канавкам Жажды, к сухому песку моего знака на их коже.

Я открыл им воду.

Каждое тело отдавало по труду своему: с того, кто рвал себя честно, сходило много; с того, кто берёт себя и отлынивал в углу, не сходило ничего, потому что Жажда брала только погнанное самим телом, а ленивое тело гнать не хотело, и канавка его стояла сухой. Кто пахал — худел. Кто отлынивал — стоял, как стоял. Меру держала Маат, не моя рука: я лишь открыл путь, а кому течь и сколько — решал пот. Чище справедливости я не ставил ещё ни разу за все три дня.

И по той же канавке шла ко мне их благодарность, и слой Сетха под этим напором гудел низко и сыто: полтора ста тел рвали себя на пределе во имя усилия, и усилие это было его молитвой, хоть никто из них не знал его имени.

Прошёл одиннадцатый час дня, пошёл двенадцатый. Серый свет в моих окнах — тех, что в зале, за закрытыми моими веками я их не видел, но знал — клонился к низкому. Дом труда уставал. Тела, прошедшие через пот, ложились, садились, держались за стены; бечева слабела телом и крепла верой — они выдыхались, и они начинали верить, потому что под рукой, проведённой по боку, кожа уже легла иначе.

Солнце садилось. Жатва шла к концу. Я держал три повода затёкшей рукой и ждал заката, чтобы свести воду и отпустить.

И тут жила якоря дрогнула — резко, не так, как дрожала всё это время.

Кирилл припал к скрижали. Я почувствовал это телом, через бечеву: он метнулся, толкнулся плечом сквозь толпу, поднял ленту, и в ленту его пошло что-то быстрое, частое, не похожее на его обычный зов. Толпа в доме труда колыхнулась вся разом — не от усталости; так колыхнется поле, когда по нему прошло не ветром, а вестью.

— Командир, — пробился ко мне его голос, далёкий, через всю жилу, и в голосе стояло то, чего я не разобрал: оно дрожало где-то на изломе между ужасом и торжеством. — Командир, ты там? Открой глаза, командир, только тихо, не порви ничего. Ты это видишь?

Солнце садилось над домом труда. Я свёл последнюю воду и приоткрыл глаза — не свои, на той стороне жилы, у весов, где толпа сгрудилась плотно и смотрела на стрелку.

— Это, командир, — сказал Кирилл, и голос его сорвался непрочитаваемо, — это тут такое...

## Глава 13

— Это, командир, — сказал Кирилл, и голос его сорвался, — это тут такое... они худеют. Командир. Они реально худеют. Прямо вот сейчас, на весах, при всех. Минус четыре. Минус пять. Тётка вон — минус шесть, она орёт, она плачет, командир, ты бы видел!

Я смотрел его глазами, на той стороне жилы, и видел.

У весов в доме труда сгрудилась толпа, и толпа эта не пролистывала. Она стояла. Человек за человеком влезал на железную пластину, смотрел на стрелку, и со стрелкой делалось то, чего стрелка этим людям прежде не делала никогда: она отступала. Не на волос — на меру. На три, на четыре, на пять той их меры. И человек, увидев, как стрелка отступила, переставал быть человеком из ровной молчащей улицы с опущенными глазами; он подымал глаза, и в глазах вставало то, чему я вчера ещё не подобрал имени.

Теперь я подобрал. Это была вера. Та самая, что встаёт не от зрелища, а от своего пота, — толстая, тяжёлая, как ил после разлива. Они трудились честно последние два часа дня, перед самым закатом, под моим знаком на коже, и тело отдало им по труду; и теперь они верили в меру, потому что мера сбылась на них самих, и не было силы, какая отняла бы у них эту веру, потому что они носили её доказательство на собственных боках.

Жила веры под рёбрами у меня загудела густо, тяжело — и хлынула.

Я готовился свести воду к закату мерно, по канавке, и принять долю, какую отдаст каждый, не заметив. Я ждал ручья. Пришёл разлив. Они отдавали не по доле — они отдавали полным сердцем, разом, две сотни сердец, потому что радость отдаёт щедрее благодарности, а у весов стояла радость. Поток ударил в мою чашу так, что я качнулся у стелы своим, оставленным телом, и Кирилл — далеко, на той стороне — вскрикнул в ленту, потому что увидел, как я качнулся.

— Не тряси, — выговорил я ему через жилу, последним усилием держа все три повода. — Стой. Я свожу.

И свёл. Отпустил сточенные канавки Жажды мягко, последней оборвал жилу якоря — и вернулся весь, целиком, в своё тело у нижнего камня. Пелену сокрытия с Кирилловой руки я не снял: ему ещё идти назад той же улицей, и пусть глаз сильного скользит мимо него, пока он не дойдёт до дома. Опадёт сама, отслужив.

\* \* \*

Тело приняло меня плохо. Я раскрыл глаза в своём зале и едва не зажмурился обратно: в

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.